

Анатолий
СОРОКИН



КНИГА ВТОРАЯ

ГОДУБАЯ ОРДА

ЗНАМЯ
ВЕЛИКОЙ
СТЕПИ



Голубая орда

Анатолий Сорокин

Знамя Великой Степи

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

Сорокин А.

Знамя Великой Степи / А. Сорокин — «Мультимедийное издательство Стрельбицкого», — (Голубая орда)

Выжить и возродиться. Обрести свое будущее. Вернуть земли и славу кочевых воинов, утраченные отцами... С дюжиной отчаянных единомышленников удачно вырвавшись из окружения, оставшись с единственным преданным нукером Кули-Чуром, тутун Гудулу провел на скале трудную зиму, и весной 681 г. Орхонская степь вновь услышала грозный топот тюркских коней.«Грубая сущность не вечна, - напоминает автор во второй книге романа, - но вечными бывают ею рожденные мысли, и глухой голос предков, подобный эху, иногда возвращается. Но чтобы услышать его, необходимо все же напрячься – слышащий только себя, ничего кроме себя и не услышит».

© Сорокин А.
© Мультимедийное издательство
Стрельбицкого

Содержание

РОК ИСКУШЕНИЯ	6
Глава первая НАЕДИНЕ С СОБОЙ	7
РАННИЕ СНЕГОПАДЫ	7
КАЗНЬ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ	17
У МОСТА ЧЕРЕЗ ВЭЙ	25
СТИХИЯ ПЬЯНЯЩЕЙ РАСПРАВЫ	30
С ВОССТАНИЕМ ПОКОНЧЕНО	37
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Анатолий Сорокин

Знамя Великой Степи

Грубая сущность живого не вчина, нетленными остаются лишь мысли, рожденные в минуты наивысшего напряжения его беспокойного разуму, и достигающие нашего слуха подобно эху глухим голосом предков. Но чтобы услышать его или представить в прежнем далеком образе, необходимо изрядно напрячься – слышащий только себя, многое не услышит.



Древние тюрки

РОК ИСКУШЕНИЯ

— *И новые — вы грешны, — сказал Пророк, появившись на каменном острове, стесненном буйными водами, среди уцелевших по милости Неба людей и животных, зверей и гадов, начавших снова плодиться.*

— *Сотворено для геенны много бесов и грешных людей! Зачем? — вскричали ему. — У них нет сердца, которым они не понимают, глаз, которыми они не видят, ушей, которыми не слышат! Они — как скоты, даже более заблудшие.*

— *Кто сбился с Пути, тому нет водителя, и Небо оставляет его скитаться слепо в своем заблуждении, — Пророк снова был краток.*

— *Ты ведь — только ясный увещеватель! — вскричали островитяне, совсем не понимая того, что стоят на макушке высокой горы, а вод вокруг так много, как много было пролито слез во все прежние времена.*

— *Если бы я знал сокрытое, я умноожил бы себе всякое добро, и меня не коснулось бы зло. Да, я — только увещеватель и вестник для народов, которые способны веровать, — смиренно изрек Божий Посланник. — Восславьте хвалой Господа вашего и просите у него прощение... Поистине, Человек неблагодарен перед своим Господом!..*

Люди подвержены страху. Они молились истово тридцать три дня и тридцать три ночи. Потом спросили:

— *Как мы должны поступить, если мы прощены?*

— *Зверь порождает зверя, человек — человека. Не становитесь ни псами, способными только злобствовать, ни тварями пресмыкающимися. Добро и алчность — только добро и алчность, стоит ли в этом еще что-то искать? Изберите по сердцу свой путь, идите дорогами, созданными для странствий, но не для цели, пристально всматривайтесь в душу свою, но не мою, и снова молитесь, другого не знаю, — был тихим ответ.*

Пав на колени среди птиц, скотов, зверей и гадов, люди просили себе милости и клялись Ему...

ОН снова простил их, вода отступила. Но РОК! Человеку некуда деться от своего РОКА...

Глава первая НАЕДИНЕ С СОБОЙ

РАННИЕ СНЕГОПАДЫ

– Тутун Гудулу? Я снова слышу это собачье имя! Живыми не выпускать! Уничтожить каждого тюрка, кто посмел самовольно сесть на коня! Я покажу, как бунтовать! – послышалось грозное приказание китайского военачальника, и было последним, что Гудулу запомнил отчетливо и лишь сильней подстегнуло.

«Уничтожить! Живым не выпускать!.. Попробуй не выпустить!»

– Слышали? Все слышали – живыми не выпустить! За мной, несчастные тюрки! У нас нет больше хана. Никого у нас нет, боги, и те.... А-аа! – Не то шептали его пересохшие губы, не то хрюпело и рычало на пределе возможного где-то в раззявленной глотке.

Встречаясь в замахе, тонко звенели сабли. Привставая на стременах, он слышал странный звон, совсем не скрежещущий, как должно быть, а назойливо комариный, будто одно каленое жало касалось другого вскользь и нечаянно. Слышал под собой жилистое крепко сбитое тело коня, сильные ноги, будто ставшие... его собственными ногами, но сабли уже не ощущал. Ее словно не было... Как не было и руки. Вообще: мрак, брызжущий кровью в лицо, въедливый звон, скольжение сабли по сабле, плотная тьма, набитая, множеством ненавистных, уродливых лиц с хищно прищурившимися глазенками.

Они возникали и пропадали, появлялись и вновь исчезали, как в странном тумане и мареве. Запрокидываясь на спину и отстраняясь, они будто растворялись во тьме, полной криков ужаса, боли, ненасытно пожиравшей разом обрызающие возгласы смерти, охи и стоны в одной стороне ночи и мгновенно рождающейся в другой, и он, тутун Гудулу, здесь не причем, если... вокруг одно сумасшествие.

И сабля его не причем, дело, скорее, конечно, в коне.

Хороший под ним был конь, удачный. Шел смело, всей грудью, слышал желания всадника и сам, всей мощью широкой груди раздвигал и солдат и плотную, горьковато липкую вязь с привкусом крови. Гудулу легко к нему приспособился, поверил, как верят лучшему другу, работая больше коленями, пятками, яростно вращая саблей и прикрываясь щитом, совсем не напрягал повод.

По прежнему опыту и прежним ощущениям тутун знал: не давая полной картины и общего зримого представления, опасность ночного сражения менее трагична и чувственна. Она остается и перед глазами, и в горячечном возбужденном сознании как мгновение стычки с одним, двумя или тремя противниками, остальное – неважно, ничего другого вроде бы нет, и долго для него больше ничего не существовало. Аспидно-черная темь шуршала песками, врывалась близкими и далекими глухими вскриками, давила на плечи, утяжеляла выброшенную вперед руку, которой было тяжело там, где должна находиться сабля, но тяжести самой сабли почувствовать никак не удавалось. Наверное, мешала плотная тьма, наполненная запахами крови, ужасом смерти, управляющими человеческой психикой по своим необъяснимым законам. Свои действия он совершал в безысходном отчаянии, дававшем дикую силу протеста, противления всему, что вокруг и вставало у него на пути. Он был неудержимым, безрассудно взбешенным призраком на крупном гривастом коне. Устремленный во тьму, которая не пропускает, нацелившись десятком длинных пик, замахивается саблями, рубит и рубит, он, прикрывающийся щитом, был притягательной надеждой для воинов, скачащим следом. Они были рядом, Гудулу слышал каждого. Не рассыпаясь лавой, шли строем, немедленно заменяя, того, кто только что скакал впереди. Неслись в непроходимую смертельную бездну, переполненную

до отказа вражеской неисчислимостью, и нужно было всех увлекать личным примером, по возможности выручая в критическую минуты собственной саблей.

Он долго был горным потоком, лавиной, селем, расчищающими путь, и сколько их было, нукеров, не менее безрассудно устремившихся следом, можно только предполагать, понимая, что крайне немного. И теперь, пока жив, над ним нет ни силы, ни власти, кроме смерти, способной остановить его, приказать опустить разъяренную саблю, покинуть седло, покориться чужой ненавистной силе, через которую он яростно прорубается.

Ни за что!

Он заранее и всегда это знал, ощущив невозможность покориться китайцам, сдаться в плен еще на Желтой реке, приемля всякое другое решение, но и плана какого-то ясного, подготовленного у него не было. Просто монах Бинь Бяо, уверенный, нагловатый, зовущий в Чань-ань, стал для него последней каплей тоскливой нерешительности, враз взорвавшей сознание, и больше от него уже ничего не зависело.

Больше никто никогда не должен решать его собственную судьбу на свое усмотрение. Ни Урыш-старуха, ни шаман Болу с того света, ни китайские армии, ни само... Небо.

И Небу власть над собой полностью тутун Гудулу никогда не отдаст, он лишь в трудную минуту попросит богов о помощи, как просит сейчас.

– Помогите! Помогите, если вы есть! – шептал он этим богам.

Он страстно шептал, пытаясь поверить, что боги все же услышат.

Ему было жарко. Ему было душно. По телу катился пот. Были мокрыми затылок и шея, и он чувствовал как ему неприятно, что мокрый затылок, но выбрать момент, запустить руку за ворот, не только вытереть, просто хотя бы смахнуть эту неприятно липкую теплую влагу не было никакой возможности.

И все же огонь ярости вовсе не слеп и совсем не безрассуден, как принято думать, свое он слышит всегда, и всегда, притухая или разгораясь и обжигая новой тревогой, чему-то рассудочно внелет. Гудулу облегченно вздохнул, позволил себе немного расслабиться, когда рядом заметил фигуру Кули-Чура. Кули-Чур оказался немного левее, на месте, где всегда находился привычный Егюй.

– Егюй... где? Где Изелька? – оглядываясь по сторонам, крикнул хрипло Гудулу.

– Не знаю, не видел... Не останавливайся, гони, дьявол, им нет конца!

– Егюй!.. Изель! – Повод резко натянулся, но конь, сильно подхлестнутый плеткой сердитого Кули-Чура, пошел с новой стремительностью.

– Егюй! Изелька! – ревел Гудулу, вращая бешено головой.

– Гони, дьявол! – кричал Кули-Чур, как он уже кричал на него давней жарко-багровой, немыслимо плотной ночью, и стегал, сек, хлестал короткой плеткой коня.

– Изелька, паршивец! – безотчетно гневался Гудулу, почему-то желая немедленноувидеть толстогубого сорванца.

– Е-гюй!

Ни Егюй, ни Изель не отзывались, место Егюя занимал Кули-Чур, и теперь широкоплечий, тяжеловесный тюрк, черный как непроницаемая ночь, стал щитом, селем, лавиной, следовать за которым легче и проще.

Получив возможность перевести дух, Гудулу опять оглянулся.

– Изелька! Изелька, паршивец, ты где?

Было странным, что ночь расступается, выпускает в легкий рассвет, на ветер, бьющий в лицо утренней свежестью, стесняет приятной истомой холода розовеющей пустыни. Радостно было чувствовать себя живым, видеть впереди надежную спину Кули-Чура, впускать в себя робкое утро и его возбуждающие токи нового близкого дня.

Непроизвольно перестав гнать коня, Гудулу долго ехал точно во сне, не задумываясь, куда и зачем, пока не уперся в Кули-Чура.

Мир, терзавший всю ночь, алчущий его гибели, мир безжалостный и жестокий, словно вздыбился в последний раз оскалившимся конем и рассыпался в прах у него под копытами. Тишина! Обнимала одуряющая тишина, накрывшая розовеющие пески утренней свежестью. В одно мгновение скалящаяся слева и справа, вдогонку и впереди, хищница-смерть отступила, позволив упасть лицом на гриву задыхающейся лошади, покрывшейся пеной. Тутун Гудулу не успел толком подумать и остро почувствовать, что в нем и вокруг, в одно мгновение наполнившись сумасшествием. Рвущее жилы не напрягом руки и сабли, пытающейся достать чье-то мерзкое тело, а восторгом, что доставать больше некого. Некого! Нервной дрожи, сумасшедшего отчаяния, предельного напряжения отчаянно работающих рук – одной, взбрасывающей щит и другой, размахивающей саблей – больше нет. Оставшегося в ночи безумия, которым он только что жил, способного вопить, сострадать, сомневаться, сочувствовать, сжиматься от страха не успеть опередить занесенную саблю противника больше нет, упав тишиной и бла-женным покоем. В один безотчетный миг он словно вышел из оглушающего отупения, наполнившего ненавистью и презрением ко всему безумно мечущемуся, размахивающему окровавленными саблями, пиками, громыхающим щитами. Мир жадный и ненасытны, воинствующий, которому нужно было или безоговорочно подчиниться, стать рабом в кандалах, или, напрягаясь на пределе отчаянной безысходности, покончить навсегда, изрубить, рассыпался, перестал существовать, требовать его смерти, представ широкой спиной Кули-Чура на лошади. Ощущая в себе бурю, ошелое буйство крови, бьющейся в голове, кровавым пожаром мельтешившей в глазах, Гудулу напрягался всю страшную ночь, вытеснив из головы всяющую мысль об опасности. Нули крепко стиснутые зубы, но он терпел. Тяжело становилось при каждом замахе сабли запрокидывающейся голове, обрызганной кровью. Нуло судорожно вздрагивавшее горячечно нервное тело, не желающее замечать, что еще дышит и чувствует, живое и жадное, волей безжалостной судьбы и неведомой силой презрения брошенное на жалящие угли погребального костра. Еще существует, но только как тень, паутина, падающая на лицо, текущая меж лопаток зудом потного тела, утомленного истаивающей ночью, тяжесть пережитых испытаний… но смерти впереди уже нет.

Сколько можно! Боги сходят с ума, проверяя меру его терпения и тех, кто рядом?

Совсем недавно, минувшим вечером, в лагере, окруженном китайцами, он готов был предпочесть неизбежному плену достойную смерть на поле боя, но умирать уже не хотелось. Минуту назад испытывая и страх и сомнения, как ощущал перед броском в холодные воды Желтой реки, приняв отчаянное решение плыть на другой берег, готовый к любому исходу, он почувствовал вдруг, что боязнь жарких углей всепожирающего костра, как и ледяной воды, неожиданно притупилась. Что тело его,бросив тяжесть тревожного напряжения, уже торжествует.

Ее больше нет – смерти!

Нет ее, отступила вместе с ночью!

По крайней мере, сегодня и для него, воина-турка. Есть вечный полет среди алых маков на грани восторженного безумия, поющего о славной победе, которая все же случилась.

Туда – в сумасшедшее красное, обжигающее, – и обратно.

С усилием и животным стоном преодоления.

Он больше не интересовался бесследно исчезнувшим с его глаз монахом. Не желал знать, куда подевались китайцы в броне и блестящих в лунной ночи, только что возникавших ряд за рядом. Всю ночь он видел только шеренги, шеренги, в которые должен снова и снова врубаться, заранее высчитывая каждый скачок коня, снеся кому-то башку, раздвинуть сильным конем лезущие в глаза панцири, провести сквозь них скачущих следом, слушая тяжкий сап и дыхание. Только – вперед! Остановиться было невозможно. Кто остановит стрелу, слетевшую с лука?

Ярость о смерти не рассуждает. Неистовство воина – движение сжавшегося в ком тела, вскинутая рука с острым клинком. Удваивающаяся и утраивающаяся страшная сила, напол-

няющая крепкое, каменеющее тело и рвущая собственные жилы. Выбора нет! Начав – иди, тутун Гудулу! Шаман Болу, неожиданно появившийся парящим над головой привидением, сузив глаза, насмешливо зашептал: «Опять спасаешь слабых, тутун? Зачем они – слабые? Иди! Сам! И продолжи… Иди, тутун Гудулу, больше некому. Я буду следить за тобой. Или тебе повезет, и ты начнешь новое великое дело освобождения порабощенного народа тюрк, или достойно, в седле, завершишь свою плотскую жизнь, принадлежащую Небу».

– Кажется, вырвались, Гудулу! Ну и ночь! – Кули-Чур был не только мокрым, он был обрызган кровью.

Барханы скрывали пространство; вокруг тутуна и Кули-Чура собралось немногим более дюжины нукеров.

Немногим более дюжины, но не было Егюя с Изелькой.

Их с ними не было.

– Изелька… Кто видел Егюя с Изелькой? – спросил Гудулу, не узнавая собственный голос, жалкий, невыразительный, как надорвавшийся тем же сражением, что и рука.

Пески! Вокруг возвышались горы песков, наползая один на другой, громоздились барханы; они, конечно, бездушно молчали.

Молчали и нукеры, собравшиеся вокруг бесшабашного предводителя, задеревенелые и бесчувственные, они еще не могли осознать в полной мере всего совершенного, что по-прежнему живы.

Живы, дьявол возьми!

Каждый вправе решать собственную судьбу исходя из личных желаний, но нeliшне не забывать, о тех, кто находится рядом. Не сообщество создает вожака, – чушь, бесстыдная ложь и неправда – сама сильная личность выдвигает однажды себя на передний план, порой неосознанно подставляясь взбудораженной массе, сообщество лишь соглашается, принимает и признает. Законы лидерства никем не прописаны, но существуют со дня зарождения живого, по-разному о себе заявляя – дюжина тюрков, готовая подчиниться любому слову тутуна, жила ожиданием. И кто бы сейчас не попытался ей приказывать, никого не услышит. Кроме тутуна, которому и кричать не надо, достаточно властно поднять руку.

Да что там – властно, просто вытянуть в нужную сторону.

Чувство единства – стихия неудержимо непознаваемого, сцепляющегося в горячий клубок, становящийся плавительным тиглем судеб и судеб. Властью окрика не насаждается: ее рождение – потребность, но не приказ.

Пески, кажется, шевелились.

Пустыня пялилась желтоглазо, сурово.

Тутун произнес:

– Люди терпеливее животных, воду наших курджунов доверим Кули-Чуру, она для коней. Ты кто, не знаю тебя? – Камча тутуна указала на пожилого нукера, добродушного на лицо.

– Суван, – назвал себя пожилой добродушный увалень-коротышка.

– Прихвати связку саксаула и поднимись на бархан, я поднимусь на другой: сигнальный дым будет не лишним, кто потерялся. Но в оба, глаза, Суван, китайцев может привлечь… Осень, день будет прохладный, побережем коней, отдохайте.

* * *

День оказался не просто прохладным, день выдался пасмурным, что для начала было совсем не плохо. В течение дня приилось еще почти два десятка прорвавшихся из окружения, но Егюй с мальчишкой не появились, и усилия упрямого тюрка, рассылавшего в разные стороны по два-три воина, взлетавшего на барханы, часами стоявшего на них, не слезая с лошади, надежды не принесли. Зато со стороны следящего за пустыней Сувана появилась сотня

преследователей, причем, не китайских, что выяснилось с некоторым опозданием, и уходить пришлось срочно – к чему затевать стычку, чтобы снести несколько вражеских голов и потерять бессмысленно свои? Уходили они, к счастью, снова в ночь, на пределе лошадиных сил. Отходили хитро, пользуясь барханами и часто меняя направление. Преследователи с завидным упорством, сбиваясь со следа, теряя во тьме, особым чутьем находили их снова.

У преследователей проявлялась упорная цель, и в чем она, на следующий день догадаться не составило труда – отряд возглавлял уйгурский князь Тюнлюг. Дело принимало крутой оборот, вновь приведя тутуна в бешенство.

Вечером, не разрешив разжигания костров, он пробурчал неохотно:

– Охота идет на меня, заклятый мой враг князь Тюнлюг не отстанет… Решайте, кто куда, никого упрекать не могу, но и со мной радости не найдете.

– У нас нет припасов, зато у Тюнлюга в избытке, хорошо, что князь появился, словно посланный Небом. Я решил взять у него кое-что, Гудулу, – будто бы равнодушно, лишь взблеснув глазами, произнес Кули-Чур и спросил, скорее, для вежливости: – Разрешишь?

Тутун, зная, что Кули-Чур когда-то служил Баз-кагану, предводителю телесской орды на Селенге, и должен помнить уйгурского князя, спросил настороженно:

– Князь… Ты был под его началом?

– Нет, я телесец северного огуза на Косоголе, жил в предгорьях Саяна, – ответил ровно Кули-Чур и поднялся: – Так разрешишь вылазку, тутун-предводитель?

– Не болтай языком в пустую… если решил.

– Тогда кто ты для нас?

– Тюркский воин без племени… За которым началась охота.

– А я сам не хочу поохотиться на уйгурского князя, и предлагаю сходить в ночь на удачу. Не хочешь, нам разреши.

– Хочешь, не хочешь… Вместе пойдем. С десятком. Остальных оставим в барханах, – оставаясь вялым и грустно-задумчивым, произнес Гудулу.

– Нас не ждут, все пойдем, заменим коней! – закричали дружно и в голос.

– Все пойдем, – легко согласился Гудулу и поднялся с попоны, на которой устало сидел усталым и вроде бы нерешительным.

Он не ставил задач, он сказал, когда нукеры оказались в седлах:

– Пусть покрепче уснут, Начнем на рассвете с разных сторон. Выбирайте сначала коней, потом курджуны с водой и припасы. На север, на север! Поскорей из песков. Там жизнь, там наша прежняя родина. Нам пора на Орхон.

Подобного нападения уйгурский князь не ожидал, вылазка удалась, в дряблой серости утра тюрки умчались дальше в пески на более свежих уйгурских конях, прихватив, что удалось, но князь не сдавался, у него появлялись свежие резервы и он упрямо шел следом.

Южно-алтайские склоны гор и привольные степи оставались недосягаемыми, в песках опять установилась жара. Не хватало главного – воды коням. Только бы воды! Не выдерживая, кони падали иногда прямо в скачке, нукеры, настигаемые уйгурскими всадниками-тенгридами, погибали бесславно.

На глазах! Захлебываясь прощальным беспомощным вскриком.

Вздев на пику очередную срубленную голову тюрка, преследователи потрясали ею победно, и тутуну казалось, что волосатая голова, похожая на копну почерневшего сена, на уйгурской пике продолжает гневно кричать, взывая к безжалостной мести.

Но уйгурский отряд князя Тюнлюга был и спасением, давая при возникающей острой необходимости самое важное, пока тюрок было не меньше двух десятков.

При этом как сам тутун, так и его сподвижники проявляли невероятную изобретательность, чтобы проникнуть в лагерь, схватить на скаку, что плохо лежит, удачно уйти. Они напа-

дали, зная, что их ожидают, но, проявляя бесстрашие, все-таки нападали. Ночь, только ночь была им верной союзницей.

Дневная жара не спадала. Идти вглубь пустыни было бессмысленно. Редкие кочевья, встречающиеся на пути, пугались дикого разбойного вида отряда бродяг, мечущегося ошалело в пустыне. Не в силах помочь чем-нибудь особенным, пастухи иногда позволяли лишь поменять уставших коней.

Почти месяц длилось это безумно жестокое испытание преследований и встречныхочных вылазок, посильное крайне немногим, в конце концов, закончившееся выходом за пределы пустыни, где началось другое. Теперь их ловили несколько сотен, включая сотню самого Баз-кагана.

Пытаясь прорваться в чернь, где встретил разбойничью шайку, Гудулу скоро понял, что уйгурский князь угадывает его план; Тюнлюг-преследователь был не только безмерно зол, захвачен желанием поймать ненавистного тюрка, он оказался достаточно умен, предусмотрительно перекрывал передевшему отряду тутуна самые важные пути.

Другой степи, кроме Орхонской, тюркский предводитель не знал, и не было рядом Егюя.

И Кули-Чур прежде не бывал в Орхонских степях, Кули-Чур знал Саяны, северные земли орды Баз-кагана, он говорил: «Пойдем краем Саян, через владения знакомого тебе нойона Биркита, в моем огузе нас никто не выдаст... Или уйдем за перевалы к Байгалу и курыканскому алту Аркену, дорогу я знаю».

Предложение нукера было здраво, вполне осуществимо, но, поколебавшись, тутун его не принял, не решился бросить, не выяснив судьбу скитающегося, может быть, в надежде на встречу Егюя. Земля у Байгала была ему чуждой. Как и молодой вождь курыкан.

На степь легли ранние холода и в предчувствии зимы, первого снега, когда каждый шаг по ней станет зrimым, Гудулу принял последнее, самое отчаянное решение.

Он объявил, собрав у костра остатки отряда:

– Утром разделимся. Со мной останутся двое. Остальные – берите выносливых коней, уходите в Алтынские горы. Лучше на ту сторону, за перевалы. Кто уцелеет, весной буду ждать... если сам уцелею. Прощайте!

Никто толком не понимал, почему тутун остается на зиму в предгорьях, почему не хочет залечь в каком-нибудь безопасном глухом урочище, как не понимал его Кули-Чур, вызывая досаду.

А Егюй понял бы сразу...

Не поняв... понял бы.

Без Егюя с Изелькой Гудулу было непривычно. Во всем, все раздражало. Особенно, когда нужно было срочно найти что-то в курджунах и сразу не находилось, поскольку что где лежит, знал всегда лишь Егюй.

– Гудулу, зима в степи – не в Китае, пропадем ни за что, Гудулу... Егюй едва ли придет, – попробовал образумить его Кули-Чур.

– Никого не держу, уходи, – хмуро повторил Гудулу.

– Что кричишь, я поклялся быть у тебя за спиной. Как уйду? – сердился непонятливый Кули-Чур.

Шайтан иногда умеет замутить разум, железных людей в борьбе с ним не бывает; Гудулу закричал злее намного и безысходнее:

– Я тебе не шаман, чтобы стоять у меня за спиной!

Он зря закричал, потому что шаман Болу был уже мертв, и воспоминание о нем навалилось невыносимой грустью.

Утром, обняв каждого, кто направлялся в новую неизвестность, он обнял нукера Кули-Чура и виновато буркнулся:

– Надумаешь, уходи, Кули-Чур, зла не держи. Со мной пропадешь.

* * *

Пробурчав очередную сентенцию, похожую на бурчание, что двум смертям не быть, а врагов всегда больше надежных друзей, о чем тутуну пора знать, Кули-Чур остался, и пожилой добродушный Суван никуда не ушел. Снег на просторах Алтая, Орхона, Саян повалил с вечера, густо-обвально, спустя несколько дней, как распрошавшись с отрядом, остались они втроем. Зима упала значительно раньше обычного, в одну ночь. Было тихо, безветренно, удивительно тепло, что радости не приносило. Поднявшись узкой козьей тропой на гору, в ранее облюбованную пещерку под нависшей скалой над обрывом, Гудулу спешился первым, глухо сказал:

– Зима началась, Кули-Чур.

В возгласе было много печали и бесконечных тяжелых раздумий, не покидавших его с той поры, как они вырвались из окружения, но говорить о них вслух было не в его правилах.

– Суван! Суван, коней заведи под скалу, в затишье, нам здесь подойдет! – прикрикнул Кули-Чур на пожилого спутника, подхватившего поводья коней.

– Лошадь хороша, когда на ней скакешь, но лошади нужен корм, – сказал не без прямого намека рассудительный Суван, поставив мокрых коней под каменный козырек, куда приказал Кули-Чур, и заботливо накрывая попонами.

Суван был в годах, по-особому кривоног и тяжеловесен, острые колени при ходьбе сильно выпирали, точно для пешего хода не были предназначены, медлителен и неповоротлив. Смуглое, остроскулое, обветренное лицо, должно быть, не умело хмуриться и наполняться злобой, оставаясь покладистым и благодушным. Такие редкие люди всегда приятны абсолютным внешним беззлобием и почти не замечаемы другими. С ними удобно, когда они есть, но и без них никому не в тягость.

Гудулу и Кули-Чур сидели на камнях, откинувшись на скалу.

Суван опустился перед ними на корточки, неуверенно предложил:

– Может, разложить костер?

– Кажется, куда-то приехали, – Гудулу оставался в себе, говорить ему не хотелось. – Будем спать, утром решим остальное, – произнес, помолчав, как исполнил важную обязанность, добавив порезче и строже: – Хорошо, снег заметает следы… Спать, спать, я устал!

Сон, в понимании кочевника, не столько потребность, сколько необходимость. Он всегда насторожен и чуток, редко бывает беспробудно продолжительным. Суван и Кули-Чур, словно заранее сговорившись, часто поднимались по очереди, ходили к лошадям, с тревогой вслушивались в ночь, полную обвального снега, подолгу стояли над обрывом. А тутун, как мгновенно уснул на камне, позволив подстелить под себя свернутую овчину, укрывшись тулупчиком, так и проснулся, не шевельнувшись за ночь.

– Зима, Кули-Чур, – произнес он те же слова, с которыми засыпал, смахивая снег с груди и встряхивая тулупчик, медленно, вяло поднялся.

Спутники его не слышали. Они лежали на входе в пещеру под слоем снега.

До самого горизонта было белым-белом. Да его, как такового, точно не существовало – этого горизонта, он сливался в слепящей белой дали с белесой пустой невесомостью.

Повздыхав, отхлопавшись от снега более тщательно, подув на замерзшие руки, Гудулу покачал ногой один заснеженный бугор, потом другой:

– Вставайте, кони замерзли.

Бугорки зашевелились, услыхав человеческую речь, подали признаки жизни кони, забрякав удилами.

– Спешишь куда-то, тутун? – Голос был Кули-Чура.

– Много упало! Как много упало! Что будем делать? – Из бугорка рядом с Кули-Чуром показался заспанный, слегка вспухший Суван.

Похлопывая себя, чтобы согреться, и продолжая по-бабы охать, он скрылся под навесом скалы, где стояли заиндевелые кони.

– Ты не ответил. Следы на белом слепому заметны, дальше куда? – спросил ворчливо Кули-Чур.

Широко расставив ноги, скинув кожаный нагрудник и растирая лицо снегом, Гудулу вдруг весело произнес:

– Если не спешить на тот свет, придется немного выждать... Ха-ха, немного совсем, до весны! – Он странно, непонятно для Кули-Чура рассмеялся.

– Мы ходим, ходим по кругу, таская на хвосте то сотню Баз-кагана, то уйгурского князя... Ты все ждешь, что кто-то придет? – осторожно, как если бы подразумевалось запретное для произнесения вслух, спросил Кули-Чур.

– Да кто придет, никто не придет, пришли бы давно, – заговорил Суван, появляясь из-под скалы.

– Егюй – опытный воин, погибнуть не мог, – сказал, как отрезал, Гудулу.

– Тутун, он с мальчишкой! – недоуменно воскликнул Кули-Чур.

– Егюй всегда был с Изелькой. Под Изелем хороший конь, – неуступчиво произнес Гудулу.

– Гудулу, Егюя могли схватить, князь Тюнлюг не глупец. Мы отрываемся, куда-то уходим, но уйгуры опять на хвосте! Исчезнем – они снова находит, – ворчал Кули-Чур. – Нас только трое, Гудулу! Трое, а было почти три десятка! Упала зима, каждый след на виду! Сам говорил: затаимся в лесу; найдем глухомань с медвежьей берлогой и затаимся.

– Егюй не найдет, как он узнает? – Тутун был упрям.

– Живой – найдет! Был бы живой!.. Как зайцы: по кругу, по кругу!

– Мы здесь уже ходили, Егюй знает, как я пойду! – Голос тутуна сохранял непреклонность.

Не решаясь на иной протест, оставаясь неудовлетворенным, Кули-Чур продолжал ворчать:

– Когда ты упрямый, с тобой лучше не говорить, все забываешь.

– Не держу, уходите. Как те... кто ушел, – в сердцах бросил опять Гудулу.

Обидевшись за бывших единомышленников, ни в чем тутуну не изменивших до последнего часа, Кули-Чур укоризненно буркнул:

– Никто не ушел, Гудулу, одних ты прогнал, другие – на пиках Тюнлюга.

Гудулу невольно смущился.

...С Кули-Чуром ему было намного трудней, чем с Егюем; не в силах понять его чувства и настроение, Кули-Чур утомлял больше меры. Егюй слышал его, угадывал самые незначительные желания, был заботлив, внимателен и немногословен; Егюй умел, когда надо, молчать, а этот всегда спешит показать, что у него есть язык.

При этом... большо-ой, что вызывало особенную неприязнь и раздражение!

Смиряя неправедный гнев, Гудулу сердито гукнул:

– В дальнейшем оставь свою болтовню при себе, Кули-Чур... если хочешь идти рядом...

Даже когда моя речь опережает мое сознание.

Кули-Чур недовольно нахмурился:

– Хорошо, Гудулу, попробую. Впереди много всего, сам не спеши.

– Я сказал – ты услышал... А я тебя услышал, с тебя хватит. – Гудулу сохранил твердость в словах и твердость взгляда.

Он выбрал это, не очень вроде бы выгодное убежище в скалах над отвесно крутым обрывом, падающим вниз, в долину, поросшую саксаулом и разным кустарником, исходя из собственных убеждений, ни с кем не советуясь. И теперь, когда выпал снег, и окончательно можно

было понять, правильно или неправильно он поступил, осмотревшись бегло, Гудулу неуверенно произнес:

– Не будем высовываться без нужды, останемся незамеченными. Тебе предлагаю, Суван... Пожилой, похожий на табунщика... Ты тоже должен уйти, Суван.

– И Суван больше не нужен? – растерялся нукер.

– Нужен, ты знаешь, где мы остаемся и будем здесь долго. Наверное, до весны. Ищи пастухов, кочующие табуны, собирая новости. Говори: весной появится тутун Гудулу старого тюркского рода, хорошо известного на Ольхоне; у него много воинов, готовьтесь пристать, чтобы рассчитаться за наших убитых отцов и матерей, уведенных в неволю. Прояви осторожность, прежде чем высовывать болтливый язык. Прикинься, что умирал на морозе, отстав от какого-то каравана. Сходи в урочище к шаманке. Узнав, что там, снова вернись. Иди, Суван, я не могу... бросить Егюя.

– Мой язык снова впереди моей мысли, но ты, Гудулу... – Кули-Чур не справился с тем, что хотел сказать, захлебнулся, закашлял.

Тутун и Суван рассмеялись.

– Гудулу, я исполню приказ, к новой луне вернусь, – помолчав и подумав, произнес пожилой нукер.

– Не спеши, будем ждать в следующей луне. Уходи, пока падает снег. Он засыпает следы.

– Да сохранит тебя Небо, тутун! И тебя, Кули-Чур! – Суван поклонился каждому из товарищей.

– Коня возьми любого, – глухо гуднул Гудулу, опустив глаза в небольшой костер, обложеный высокими камнями.

– Взял бы, но не возьму, – потупившись, ответил просто Суван.

– Жакши, зима длинная, нам лишний конь пригодится. Жакши! Начни с распадка, который за саксаульником, давно за ним наблюдаю, там кто-то должен был зимовать. Хороший распадок. Но не задерживайся, не стоит, что бы кто-то тебя заметил. Не прямо спускайся, сначала по склону, на дальний край долины. Следов на снегу поменьше оставляй. Видишь, осипи, камни? – Гудулу показал рукой путь, предлагаемый нукеру.

– Пойду осторожно, я понял, тутун, – ответил Суван, перевязывая понадежнее грубые кожаные обутки из плохо обработанных лошадиных шкур, порядком истертые стременами, что-то перекладывая в небольшом курджуне и примеряя его на спине.

– Внизу не забудь оглянуться. Наш дым заметишь, выходит, и другие видят. Плохо, кто там такие?

– Плохо, – согласился Суван.

– Спрашивать станут, говори: встретил странника с черной болезнью, наверное, он зимует.

– Я дам сигнал, разожгу небольшой костер. – Суван показал на далекую скалу у входа в лесное урочище.

Как только Суван, соблюдая возможные предосторожности, скрылся из виду, Гудулу обернулся к оставшемуся с ним нукеру и глухо бросил:

– Без корма лошади быстро худеют, Кули-Чур, начнем с лошадей.

Кули-Чур его понял, поскольку Гудулу назвал коней лошадьми, согласно кивнув, спросил, стараясь не выдать волнение:

– Сразу забьем всех?

– Пока две. Тебе шкура и мне, – тутун усмехнулся.

Остальное они совершали со знанием дела, в полном молчании.

С помощью аркана, привязывая его к передней ноге, завалив и покончив с лошадьми, они обвернулись каждый сначала кошмой, потом дымящейся шкурой так, чтобы мех оказался вовнутрь. Дожидаясь пока кожа затвердеет на морозе, легли на снег в этих коконах, расширяя

их, насколько возможно, руками, локтями. При этом Кули-Чур продолжал беспокойно ворочаться. Словно внимательно вслушиваясь, не желая пропустить, не отдаст ли Гудулу новое распоряжение, отменяющее претворяемое. Передумает вдруг и отдаст – нельзя не услышать! А тутун, как лег, так снова не шевельнулся.

Получилось убежище – как нора. Они занесли, каждый свое, под скалу, в нишу, засыпали снегом, хорошо утоптали.

Затем принялись за разделку туш.

– Осталось дождаться весны, Кули-Чур, – произнес Гудулу в сумерках, когда дело, намеченное на день, было закончено, и первым полез в конуру, выстланную кошмой.

Наконец можно было подумать, что с ними случилось и что может быть.

И никто, ни одна живая душа не будет ему очень долго мешать.

Может, быть, целую зиму…

КАЗНЬ НА ДВОРЦОВОЙ ПЛОЩАДИ

– Спешите! Казнь на Дворцовой площади, где подобных казней не было давно! Повелением императора Гаоцзуна и Великой У-ху сегодня будет казнен отсечением головы злобный тюрк, старейшина князь-ашина, вождь возмутителей спокойствия в Шаньюе, Ордосе и Алашани! Его засушенная волчья голова будет выставлена во Дворце Предков, но вы увидите, как она истекает последними каплями крови! Спешите, чтобы увидеть и рассказать своим детям! – зазвивно кричали конные и пешие глашатаи, внося оживление и переполох в обычную душно-пасмурную утреннюю тяжесть столицы, зима которой еще не достигла.

Зрелищ подобного рода в столице хватало, а казнь отсечением головы – в Китае не любили строить громоздкие виселицы – была доступна всякому любопытному зеваке почти каждый день. Но не на главной площади и не дерзкого возмутителя покоя тысячелетней державы, о котором шепчутся в страхе второй год, помня, что ханы Степи не однажды поили в реке Вэй, омывающей крепость Чанъань, своих диких потных коней.

Огромная площадь была оцеплена императорскими гвардейцами в мохнатых шапках и отборными солдатами дворцовой дивизии в блестящих латах, с грозными искривленными алебардами, что лишь умножало величественность необычного торжества. В середине возвышался массивный помост, сооружавшийся несколько дней из бревен и толстых плах, также окруженный кавалеристами в начищенных до блеска бронзовых панцирях и шлемах, с длинными хвостатыми пиками. На помосте мрачным изваянием каменно возвышался широкоплечий палач в пурпурном щелковом балахоне и черной маске. Он опирался на длинную прямую рукоять топора с широким блескучим лезвием пальца в три, внушая невольный страх стайке мальчишек, прибежавших первыми.

Скоро потянулись ночные бродяги, другие бездомные дети, с рассветом, раньше ленивых собак, обследующие помойки и свалки богатых владений, девицы расхожего толка, дюжинами выпархивающие из ночных питейных лачуг и, создавая свою любопытствующую суete среди редких прохожих. Повалили многоглестной гурьбой поскучневшие торговцы, менялы, продавцы жареных бобов, лепешек и пирожков с начинкой из риса, яиц и лука, торговлю которыми приказано было на время свернуть. За ними последовали второразрядные чиновники и простолюдины. Наконец застучали колеса карет, кибиток, возков, зацокали копыта коней зажиточных горожан и знатных особ, пожелавших немного развлечься, появились толпы монахов, закончивших утренние служения в пагодах и прочих молельных заведениях.

Привычные ко всему, в том числе, наряду с казнями, и к шествиям разного рода, карнавалам, торжественным выездам двора в дни жертвоприношений предкам за городом, горожане переговаривались о том, в первую очередь, насколько князь из Степи дикарь и за что какому-то тюрку настолько высокая честь. Исполнение императорского смертного приговора на площади, где подобного действительно давно не случалось, в обычательском понимании чанъаньцев, искушенных многими казнями, являло собой очень высокую честь. Мало, что ли, грязному тюрку деревянной колоды на мосту через Вэй?

В разномастной многоликой толпе всегда находится знающий больше других, и кто-то, презрительно фыркая, спешил сообщить небрежно, что казнь старого князя Ашидэ-ашины – только начало настоящей расправы над побежденными дикарями в песках Алашани. Что под стены Чанъани согнаны тысячи пленных, ожидающих жалкой участи. Что среди них немало других знатных бунтарей, которым, наверное, здесь же, на этом помосте, целый месяц будут рубить грязные головы.

– Вот забота – тысячи тюрок! Закопать в землю, если так много, и делу конец! Время только теряем, – возмущались в толпе.

– Кровью потом долго пахнет, собаки ночами воют.

– А что говорят монахи? «Далеко нам до царства покоя, – говорят они. – Тюрки среди тех, кто пытался помешать великому царствованию Поднебесной! Их смерть на наших глазах для того, чтобы сохранилась в памяти поколений!»

Утро оставалось пасмурным, затянувшееся ожидание в одних только усиливало праздную остроту ощущений, других утомляло тяжелым бездельем. Но толпа есть толпа. В ней, бездеятельной, мечутся токи буйства скрытой стихии, возникает особое напряжение. Толпе уже не терпелось увидеть этого злокозненного тюрка-вождя, о котором толком среди них мало кто знал, насладиться острым, щекочущим нервы зрелищем, и то, что ей вскоре предстало, когда князь появился, вызвало досадливое недоумение. Окруженный солдатами в панцирях, с алебардами и офицерами с обнаженными саблями, князь выглядел немощным и невзрачным. Он шел медленно, пошатываясь из стороны в сторону. Запруженная людьми площадь тысячеголосо взревела мгновенным единым презрением к тюрку-врагу, но, не в силах не увидеть, насколько князь изнеможен и стар, вроде бы смущившись, понемногу притихла.

Где-то засвистели и разочарованно зауллююкали.

Князь шел осторожно, как ходят слепые. Он был седой и взлохмаченный, зная, что с ним должно скоро случиться, пытался выглядеть достойно чина и положения. Выравнивая шаг, стараясь унять трясущиеся голову, руки, он становился только смешнее, походил на шута, вышедшего позабавить толпу городских бездельников, сбежавшуюся поглазеть на очередное развлечение.

Когда процессия приблизилась к ступеням помоста, в дальнем углу площади, под старым раскидистым деревом остановилась ничем не примечательная черная карета, принесшая беспокойство и стражам и палачу. Из кареты никто не вышел, но по толпе прошел тихий, как ветер, шепот.

– ОНА? – спрашивали в испуге одни.

– ОНА, – в не меньшем испуге отвечали другие.

– Эта черная карета у НЕЕ, чтобы выезжать на важные казни, – подтверждали третья.

Офицер, поддерживающий незаметно князя под локоть, выпустил на мгновение и с первого шага князь не попал на ступеньку, оступившись, невольно сконфузился. Стражи подернули его за цепи, подпихнули на первую ступеньку, на вторую и подняли на помост – сам, пожалуй, он бы ни за что не взошел.

Наверху, неожиданно почувствовав под ногами опору, тюркский князь снова едва не упал, что вызвало в толпе напряженный и нервный смех, и будто вскрик, а рядом с помостом возникло движение. Высокий человек с капюшоном на голове, рванулся к помосту, расталкивая толпу, но другой, одетый схоже, ухватив за руку, удержал.

– Отпусти! Отпусти! – возмущенно и нервно вырывался виновник неожиданной суеты. – Как он состарился, Тан-Уйгу, невозможно узнать!

– Успокойся, держись, я говорил, он плохо видит, почти не слышит!

– Тан-Уйгу, ты обеща-ал… Как я хотел встретиться с ним!

– Не называй никаких имен, не привлекай внимание. Ты не выдержишь, лучше уйти, не находишь?

– Уйгу, Уйгу, он мой отец!

– Прошу, кругом соглядатаи, не надо имен!

На князе разорвали одежду, сдернув до пояса, как сдергивают шкуру с барана, и толпе предстал жалкий, немощный старичок с трясущимся посиневшим телом и выпирающими остро ключицами. Когда ему стали связывать руки, заломив за спину, по толпе прокатился легкий смешок и презрительные выкрики, доставив новое сильное беспокойство высокому человеку в капюшоне.

Князь вел себя тихо и терпеливо-покорно, пробовал натянуто улыбаться, представить его грозным, размахивающим саблей, рубящим направо и налево головы, было невозможно, и толпа разочарованно молчала, как будто чего-то недопонимая.

– Собаке собачья смерть! – крикнули нервно и злобно в толпе у помоста, умело возбуждая разочарованных зевак.

– Он волк, не собака! У них на знамени злобная волчья пасть! – охотно подхватили по другую сторону помоста.

– Смерть тюркам-собакам! – визгливо закричали рядом с каретой.

Чтение приговора было коротким и торопливым, словно бы судебный чиновник спешил куда-то: тюркский князь Ашидэ за поднятое возмущение в Шаньюе и Ордосе приговаривался высоким императорским судом к лишению прежних чинов, привилегий и благородной для князя смерти – отсечению головы. Его княжеские владения в Ордосе передавались именным указом победителю кампании генералу Жинь-гуню.

– Победитель – Жинь-гунь? А Хин-кянь? Разве тюрок разбил не Хин-кянь? – удивлялись в толпе.

– Помолчи, сам ты… Хин-кянь!

Князя поставили на колени. Высокий широкоплечий палач в черно-красном одеянии положил на толстый чурбак поудобнее для себя свою голову с ничего не видящими глазами и беззубо разъяренным ртом, потянулся к секире с длинной рукоятью.

– Вот бунтарь! Бунтарь беззубый! – не выдержав, засмеялись за спиной у Тан-Уйгу.

– Зато тюрк!

– Смерть собакам!

– Нашел собаку! Мятежник, ха-ха!

Смерть мгновенна: топор палача поднимается, может быть, медленно, а падает стремительно, выпуская из грубого тела в вечный полет душу казненного. В потустороннюю бесконечность, в которую живому никогда не проникнуть. И нет, и больше не будет для нее страданий; в невесомый дым превратится прошлое и уже не родится в неповторимо великому хранилище разума самое ничтожное желание погубленной плоти. Никто не знает, как душа расстается с телом, кто больше в трепете и смятении при этом – душа или тело. Совершив сотни казней, не понимал и палач, но уверенно знал, что душа умирающего от его руки ему неподвластна. Его топору подотчетно лишь тело, которое он убивает мгновенным ударом, расчленяя только зрячую оболочку огромной неосязаемой сути Великого и Божественного.

Томящаяся смертью убежища-тела душа палачу неслышна в своей крайней страсти, пусть улетает, душу казнить невозможно. Великие учителя древности утверждали, что живые тела и объекты существуют не абсолютно, а лишь относительно и в том сознании, которое их воспринимает. Но законов существования относительного и абсолютного множество, приготовленный к смерти, сам вправе решить, куда он последует, завершая жизненный путь в земной оболочке. И там, куда он последует силою собственных устремлений, в Высшем Мире астральной природы осознанного и неосознанного, условно называемой Сферой Мысли, пребывание его будет коротким или продолжительным исходя из того, чем была его жизнь в земной оболочке. Именно здесь, покинувшие земную обитель нравственности и пороков, способны подняться выше простых физических ощущений, воспринимая радость гармонии сфер, обретая общения с Ангелами, и наполняя свою чашу дальнейших познаний. Вот почему Мудрость требует благородства еще при той жизни, которая случается на Земле, не дожидаясь следующей, при посмертном существовании…

Палачом был императорский страж-евнух Абус – так пожелала сама Вседержительница. Абус провел ночь в молитве, прося у богов снисхождения к себе, не имеющему ни зла, ни презрения к важному тюркскому князю, и не сомневался, что душа смертника всегда в устремление к Божьему вечному Свету и поиске желанного очищения, по-другому она не живет. Что,

после удара его топора, через страшную рану она изойдет, истечет, никому не давая отчета, лишь сотрясая жалкое тело мгновением судорог.

Абус многое знал, многое понимал, скрадывая последние тягостные минуты одиночества уходящего императора, нуждающегося в сокровенных беседах о страданиях и чувствах людей. Но император поздно задумался об этом и был не в силах помочь ни себе, ни здравому смыслу, уничтоженному той, кому он доверил всю власть.

«Разум, как луна, полный и одинокий,
Его свет поглощает десять тысяч вещей.
Не то, чтобы Свет освещал Поле,
Не то, чтобы Поле существовало,
Просто Свет и Поле забыты,

А что позади?» – чаще других и настойчиво-неоднократно произносил умирающий император изречение Третьего Патриарха, посвященное «веряющему разуму», словно находя в этом спасительное оправдание своим безликим делам и поступкам в отличие от мудрого родителя, создать что-то полезное для Китая, – Какое бы название мы не давали высшей природе – «свет», «разум», «зеркало», «совершенный Путь», – говорил он пересохшими болезненными устами, – постичь ее можно только выйдя за пределы «отбора и выбора», куда улетает душа умирающего... Разум как пятна на поверхности зеркала; когда грязь устраниется, свет начинает сиять и Высшая Природа видимого раскрывает свои глубинные тайны...»

Умирающий император это одно, завершающий путь на деревянной императорской колоде под его топором – другое; Абус на них насмотрелся. Этот был жалок, неинтересен, к смерти совсем равнодушен. Такие бесстрастно живут и умирают, не выразив последнего гневного возмущения, подобных палач жалеть не умел. Непринужденно, привычно вскинув топор и опустив на дряблую шею старейшины-князя, палач шумно выдохнул, жестокая работа его завершилась, почти без усилий.

...Палач шумно выдохнул, но его шумный «хык» не смог заглушить мерзкого хруста шейных костей, слившегося с долгим шипением, которое еще исходило из обезглавленного в долю мгновения старого княжеского тела.

В толпе, где стояли два человека в капюшонах, послышалось что-то похожее на тягостный стон.

– Его больше нет, Уйгу! – Один из капюшонов затрясся, упал на другой.

– Пойдем, к нам прислушиваются, ты говоришь громко... Уходим, – поспешно сказал Тан-Уйгу, решительно раздвигая толпу.

– Куда? Никуда не хочу! – сопротивлялся назвавший князя отцом, но сопротивлялся не настолько сильно, чтобы с ним нельзя было справиться.

Палач поднял за длинные седые волосы голову князя – что так же входило в его иезуитскую работу, – вяло потряс, показывая толпе, заставляя собравшихся на площади снова бесчувственно и дружно взреветь.

– Зачем пригоняют увидеть насильственную смерть тела? – воскликнул сын князя.

– Отвернись, не смотри, – произнес Тан-Уйгу, силой разворачивая своего спутника и пытаясь вывести из толпы.

Сквозь толпу к ним пробирались две подозрительные фигуры, и Тан-Уйгу, цепко взяв князя под локоть, властно сказал:

– Уходим, уходим!

– Отпусти, – сопротивлялся молодой князь.

– Уходим, – не сдавался гвардейский императорский офицер.

Подержав навесу голову, с которой продолжало капать, под крики и улюлюканье, непонятно что выражавшие, палач бросил ее в корзину.

– Он бросил … в корзину? – спросил княжеский сын.

– В корзину, – ответил Тан-Уйгу, изо всех сил работая локтями.

Толпа поредела, Тан-Уйгу сдернул с головы капюшон и сердито проворчал:

– Казни продлятся до самой зимы, Ючжи! Князя Фуняня везут, Выньбега! Потом начнут придумывать тюркские заговоры в самой Чаньани. Тебя… Не замечаешь пока ничего? Слава Небу, шаман умер собственной смертью! Вон, хочешь, зайдем и как следует, выпьем? – Тан-Уйгу показал рукой на аккуратную китайскую питейную с красными бумажными фонариками на входе.

Резко сбросил капюшон со своей головы и сын казненного князя. Это был молодой человек с тонкими, выразительными чертами лица,искаженного пережитым ужасом. Он был дьявольски красив. Его черные глаза бессмысленно и потеряно метались, а повышенная нервная возбужденность словно застыла ужасной обезображивающей гримасой. Губы его тонкие, сместьившиеся одна относительно другой – ставшие безвольными, синими, точно им было холодно, – мелко тряслись. Вздрагивал нерв на щеке, под левым ухом, и шевелилось все красное ухо. Глаза в узких прорезях век будто плакали, наполнялись слезами, и тут же в них возникала мгновенная и летучая ярость. Он был слаб и мог быть не слабым. В нем все управлялось не единой силой воли владеющего собой человека, а внезапной стихией сразу многих чувств, свобода которых в подобных случаях никем и никогда особо не ограничивается.

– Пойдем… как следует, выпьем, – произнес он глухо, безотчетно повторяя слова Тан-Уйгу, и согласно тряхнул длинноволосой головой.

Они вошли под бамбуковый навес, где на циновках рассаживались другие посетители, вяло обсуждающие казнь степного князя, огляделись в поисках укромного места.

– Да разве он тюрк, этот жалкий старик, – громко рассуждали о князе, – ты тюрков не видел!

– Не видел? Вон, оглянись, они на каждом шагу! – И спорщик, не испытывая неловкости или смущения, вызывающе ткнул пальцем в сторону Ючжена и Тан-Уйгу.

Подобное отношение к себе в чуждой среде встречает любой инородец, Тан-Уйгу давно к этому привык, его сознание давно уже не реагировало на подобные выпады, не заострялось негодованием или ответным презрением. А княжич вдруг замер, как-то взъерошился, и в таком состоянии мог совершить необдуманный поступок. Тан-Уйгу взял его плотно под локоть, движением головы указал на дальний угол с пустующей циновкой и маленьким столиком.

Выделив новых посетителей в чиновничих одеяниях, как непривычных для своего заведения, заслуживающих особого уважения, к ним подбежал расторопный хозяин и, получив сердитое приказание Тан-Уйгу, увлек за собой.

– Есть, где спокойнее! У меня почетные гости бывают! У меня хорошее заведение, свежая рыба и нежная птица фазан! Танцовщицы! Фаршированный крупный удав, черепаховый суп, змеиные языки! Что прикажете приготовить? Музыкантши из школы искусств! Музыкаантши! – повторил он многозначительно как пропел. – Молодые совсем прелестницы сада удовольствий, – впустив посетителей в тесную каморку с выходом на просторную площадку для представлений, рассыпался в любезностях крупноголовый китаец с модной косичкой на бритом затылке.

Отдав хозяину новое строгое распоряжение, свидетельствующее, что пришли они не ради его уличных соблазнительниц, Тан-Уйгу, шумно вздохнул:

– Не знаю, Ючжи, что случилось, вчера во дворце речи о князе не шло, говорили о пленных, которые рядом с Чаньанью, обсуждали торжественную встречу генерала Жинь-гуня. Я дважды встречался с Сянь Мынем, он словом не обмолвился о казни, а утром… Ючжень, не сердись, я не смог, в последнее время Сянь Мынь мною не очень доволен.

– Увидеть его… Я увидел, спасибо, Уйгу… Он, правда, оглох и ослеп?

– Глухим его привезли, потом князь ослеп.

– Ты говорил, он сожалел, что поддался Фуняню и Нишу-бегу. Почему сожалел?

– Он так сказал, отвечая на вопрос монаха, почему не пошел вместе со всеми в тюркскую Степь за Желтую реку. Он сказал: надо было пойти с шаманом Болу не в пески, заложить новое поселение, а вывести всех на Сленгу и Орхонский простор. Поддавшись напору князя Фуняню и Нишу-бега, позволив столкнуться в сражении с генералом Хин-княнем, он погубил свой народ.

– Отец был слишком стар, Уйгу.

– Стар? Твой отец, Ючжен Ашидэ, был сильный князь, военное дело знал. Встань сам во главе, кто знает, как бы еще оно повернулось! Слышал бы, как он разговаривал с У-хоу и монахом; У-хоу сама спускалась к нему в подземелье!

– Ты рассказывал.

– Князь им сказал, – горячо перебил его Тан-Уйгу, – он сказал Сянь Мыню: пожар не скоро потухнет, Сянь Мынь, унизили инородцев, вы допустили ошибку. Жаль, Ючжи, на Ордос для тебя дороги больше не будет.

– Что мне Ордос, я там почти не жил, – скучно произнес молодой князь.

– Тебе лучше покинуть Чаньань хотя бы на время. Всем тюркам будет непросто, но тебе…

– Куда? Куда, Тан-Уйгу? Я на службе империи евнухов и монахов!

Серая тучка накатилась на солнце. Нацеливаясь на помост, пошла, поползла, полезла по головам передевшей толпы, не спешащей окончательно расходиться, накрыла массивное сооружение для казней, исполнителя-палача, опирающегося на топор, и снова, брызнув лучами, осветила и обезглавленное тело последнего тюркского князя из времен императора Тайцзуна, и убийцу в пурпурных одеяниях, широкие плахи, кровавую лужу…

Соблазняясь и обманываясь, сама по себе жизнь мало что может; ею управляют, выстраивая и подчиняя отдельным обстоятельствам, чаще, самые омерзительные распорядители, делая многое беззащитным и бессмысленным. Но другого ведь не дано и едва ли будет доступным…

Немногим, крайне немногим жизнь в наслаждение! Крайне немногим!

Краем плоскости стремительно удалялась черная карета.

* * *

Смятение не может быть вечным; полное сарказма восклицание молодого князя о чиновничьей зависимости задело Тан-Уйгу, проникло в его холодный расчетливый разум. Всегда считая себя воспитанным для служения Табгачскому государству, как называли северный кочевой Китай и Застенную равнину его соплеменники, он с честью исполнял предназначеннное и покорялся всему, что выпало на его долю тюрка-инородца, безропотно приняв, что судьба – благосклонность Неба. Но усвоил он твердо и то, что неизменного в мире нет. И если во времена великого собирателя земель императора и мыслителя Тайцзуна существовали одни порядки, при его сыне Гаоцзуне и У-хоу другие, то с восществием на трон следующего, пока еще несовершеннолетнего, которому он сейчас непосредственно служит, обучая военным наукам, неизбежны и третья. Это был стержень всей его рассудочности, для инородца спасительной и обнадеживающей, как легкий приятный туман. Не подвергая сомнениям свои устоявшиеся убеждения, подталкиваемый к надеждам на перемены хитроумным монахом, он давно и несколько иначе, нежели Сянь Мынь, сделал ставку на юного принца. Это была его великая тайна. Себялюбивая, эгоистичная, но устремленная к цели, обозначенной самим Сянь Мынем как эпоха неизбежных и благодатных будущих перемен, которые непременно должны наступить не без его участия. Он многому научился именно у Сянь Мыня, который, владея всем, готовился и дальше властвовать во Дворце, чтобы не происходило на троне, и немало достиг,

избрав этот путь. Осторожные беседы Тан-Уйгу с наследником становились все продолжительнее. У него доставало предусмотрительности, сохраняя необходимую отстраненность от принца, глубже и ненавязчиво проникать в его сердце, готовя доступными себе делами свое потрясение истории – всей истории, подвластной императорам, а не отдельной личной судьбы, чем занят был больше всего хитрый монах.

Не очень доверяя стихии так называемых народных возмущений, которые на самом деле к народу имеют отношение весьма отдаленное, он был уверен, что мыслит утонченнее, а действует созидательней. Волею провидения, оказавшись рядом с наследником, он, терпеливый, настойчивый тюрк, используя полезные уроки монаха, содействует принцу по мере своих возможностей лучше понять недалекое прошлое, стать достойным славы его императора-деда, способствуя этим надеждам на перемены и вдохновению уцелевших приверженцев прежних досточтимых времен, способствуя многим из них возвращению на службу. Обстоятельства ему благоприятствовали, сама мать-императрица, ее тупые фавориты вносили немалую смуту в душу наследника. В живых оставались некоторые старые вольнодумствующие вельможи, князья, бывшие высокопоставленные чиновники, хронисты-историографы и летописцы прежних времен. Их было немного и почти не осталось в Чаньани, уцелев именно потому, что жили в глухих провинциях, заинтересовать юного наследника умом, знаниями, пониманием устройства миров вершителями прошлого, большого труда, заметно не выпячиваясь и не привлекая внимание, для Тан-Уйгу не составляло. Один за другим они как бы случайно появлялись рядом с принцем и попадали под его высокородную защиту.

Нет, служить монахам и евнухам, тупым генералам китайский офицер тюркского происхождения вовсе не собирался. Все шло в едином для него устремлении, соответствовало его собственной логике и логике тех тюрок-соплеменников, с которыми он поддерживал отношения, включая старшего сына казненного князя Ашидэ, удачно пристроенного на службу в Палату чинов. Главой этого ведомства недавно был назначен опальный вельможа, последний, наверное, из высших сановников государства, склонных к решительным переменам, а юная дочь его, принцесса Инь-шу заинтересовала Сянь Мыня, к чему Тан-Уйгу также удачно приложил свою руку.

Казнь тюркского князя-ашины его сильно расстроила, не ожидая такого конца этой незаурядной судьбы, он к подобному совсем не готовился, почему-то уверенный, что у князя достаточно при дворе серьезных покровителей, и почти не готовил его сына. И сейчас молодой князь Ючжи раздражал его не тем, что изливал в отношении китайцев, а тем, скорее, что сам еще мало что значит... если вообще что-нибудь значит. Так о чем, о каком государстве монахов кричит этот молодой отпрыск приличного тюркского рода, не сделавший пока ровным счетом ничего даже для собственного благополучия? Как же глупы они все – его чаньаньские соплеменники, живущие на коротком поводке у странной судьбы, слизывая с чужих подносов чужие подачки! Пугаются того, что в Степи, и недовольны происходящим с ними в Китае, живут каждый маленьким личным, а мечтают о чем-то несбыточно общем...

Не устраивает У-хуо, властвующая над Гаоцзуном? Такое, когда женщина становится сильней законного правителя, не однажды случалось, и горький час У-хуо еще наступит. Монахи достигли всесилия? Но были всесильны и евнухи и генералы – у каждого власть предержащего свои пристрастия и свои начала. Уметь выстоять, уцелеть, не потеряться в безумстве свершений – есть обычная житейская хватка, а способность что-то переиначить, исправить, изменить в самые глухие времена на пользу разума и самого человеческого процветания – высшая мудрость. И он, по сути, безродный тюрк Тан-Уйгу, постиг ее... не без помощи того же Сянь Мыня. Он, всего лишь скромный наставник по боевым искусствам восходящего на трон, делает для будущего больше, чем десять восстаний, похожих на только что захлебнувшееся в крови.

Подобно молодому князю, опасаясь последствий, он редко встречался со своими чаньаньскими соплеменниками. Они были ему малоинтересны. А те, на окраинных землях, дружно поднявшиеся за тюркскую честь, оказывались малодоступными. Ощущая свое одиночество, пустоту вокруг, Тан-Уйгу становился раздражительным, как невольно повел плечом в ответ на проявленную юношей обреченность, дав невольный простор тяжелым рассуждениям, взорвавшим его. Теплое рисовое вино напоминало пойло, Тан-Уйгу поморщился, выпив новую пиалу, но опьянение не наступило, голова сохраняла ясность и навязчивую обеспокоенность. Идти никуда не хотелось, тем более во дворец, не хотелось видеть сейчас принца-наследника и пропало желание дальше оставаться с Ючженем.

– Не верю, что там все утихло, – произнес Тан-Уйгу глухо, признаваясь горячечным шепотом в самом сокровенном. – Больше не верю! Не может тюркская Степь, однажды воспрянув, так вот затихнуть!.. Знаешь, я жалею теперь, что не ушел. Немного бы еще… Я бы ушел, клянусь!

Его знобило, он верил, о чем жарко шептал. Перед глазами мелькала река, наполненная телами, раздвигающими льдины и пропадающими в пучине, монах Сянь Мынь, насмешливо утверждающий, что народа тюрк больше нет, наследник, предлагающий ему называться китайцем.

– Последнее, что помню, посылая в Чанъянь, отец сказал: все равно мы дети Степи, не забывай, Ючжи. А его больше нет, – продолжал отдаваться воспоминаниям тюркский князь, совершенно не затрагивая наставника принца.

Они жили разным. Юный Ючжень страдал невосполнимой утратой. В нем сильно билась горечь ее, терзали собственные страданиями, не желающие слышать не менее тяжелые, живущие рядом.

Молодой князь был удручен, действовал угнетающее, подавлял беспомощностью; отодвигая чашку-пиалу, Тан-Уйгу устало произнес:

– Да, Ючжи, мы дети Великой Степи, но помним ли нашу Степь Великой? Я хотел служить ей здесь и строил свои планы. Я думал так о себе, совершенствовался в этом до тех пор, пока не увидел тупое, бессмысленное сражение на Желтой реке и не увидел жалких, раболепствующих наших тюрок-старейшин. Доставить генералу Хин-кяню голову собственного вождя! Меня поразило не то, что жалкие, ничтожные слуги не гnuшаются изменой, а то, что этими жалкими и трусливыми оказались не простые воины, которых я смог бы понять и простить, а старшины и старейшины. Что еще сделать для них больше того, что сделал твой отец – князь Ашидэ, чтобы они вернулись к началу? Такие они, предадут все родное в любой час. Включая память о предках.

У МОСТА ЧЕРЕЗ ВЭЙ

Подобострастно согнувшись, услужливый хозяин питейного заведения шептал в самое ухо:

– Тюрки-мужчины – мужчины горячие! Я узнал тебя, наставнику нашего принца, благодарю, что ты осчастливила мое скромное заведение присутствие. У меня есть особый подарок. Оглянись, достойнейший господин офицер! Тобою любуются, не скрывая восторга, лучшие в Чаньани тюркские девушки-обольстительницы! У-уу, сколько жажды, огня, а ты еще к ним не дотронулся! Не лишай моих юных красавиц, чувствующих каждый нерв возбужденного мужчины, своих вожделений и сладостных грез. Укажи, с какой господин офицер пожелает уединиться и дозволь ей заняться тобою в меру своего божественно сладострастного мастерства.

От него несло чесноком, приправами, мускусным духом. Отстраняясь невольно и раздраженно, Тан-Уйгу заметил на просторной площадке, вдруг распахнувшей перед ним в глубинешелковые драпировки, похожей на бамбуковые заросли, двух изящных служительниц вертепа мелких утех и соблазна. Появившись, как выплыv, они словно бы изнывали от неутолимых и нескрываемых вожделений. Их взгляды зовущие, устремленные на него, изливали мягкую негу волшебного тяготения, обещая немыслимые удовольствия, просили приблизиться. Хозяин махнул рукой. Полилась легкая струнная музыка. Девушки ожили. Тела их, извиваясь по-змеиному, пришли в единое плавное движение. Всё! Всё в них, наполненное искусствейнейшей страстью, двигалось и колебалось, открывая только ему тайные прелести, всё овевало его ненавязчивой музыкой чувств и возбуждая горячечной страстью желаний.

– Пусть исчезнут! Закрой! Закрой! – Тан-Уйгу хотел закричать, выразить гнев и страдания души, но вышло вовсе не громко.

Хозяину вполне хватило; поспешно и суетливо, в явной досаде он снова махнул рукой, ишелковые занавеси быстро сомкнулись.

– Оставь нас... Принеси, что у тебя самое крепкое, – глухо сказал Тан-Уйгу.

– Принесу, принесу! Сейчас принесу, – раскланивался и пятился хозяин-китаец.

И скоро на малахитовом столике появились новые наполненные пиалы. Тан-Уйгу жадно сделал несколько крупных глотков, ожидая чего-то свежего и бодрящего, но только смешал тяжелые прежние мысли с новыми, неловкими и непосильными.

...Совершая обычные однообразные круговороты в рождении и смерти живого, история упрямо смеется над человечеством, неизменным в пороках, устремленных к благам и заблуждениям. Она пытается образумить, наставить его, просветить суровыми уроками прошлого. Каждым новым шагом и действием она твердит, что так уже было, но люди, соглашаясь и зная, что было, и было отвратительным, ужасным, делается не лучше и еще менее достойно, они становятся хуже, не желая осознавать, что сами творят не менее ужасное и уродливое. Они перекраивают законы, развязывают еще более жестокие войны, переустраивают государственную власть и перекраивают государства, надеясь втайне горячечной лихорадочной увлеченностии, что с их делами случится иначе и у них получится лучше. Действительно, у кого-то случается по-другому, удовлетворяя завистливую страсть к власти и благам, но эгоизм отдельной личности беспределен. Он притягателен и манящ. Эфемерен и соблазнителен. Другим человек, подвластный обычным, свойственным всякому подобному существу вековечным порокам, быть просто не может. Даже в молельне, наедине с Богом, он чаще нечистоплотен, как не надо бы для его грешной души, и отвратительно мерзопаскуден. Подумав так выспренно и пространно, Тан-Уйгу нервно и огорченно вздохнул. Всё утро, всё тусклое и тяжелое начало дня, до неприязни и отторжения он, ощущал грусть и разлад во всем сокровенном, что было его устоями, на которых зиждилось его прежнее многолетнее китайское существование. Казнь князя-ашины словно безжалостно вырвала из него последнюю каплю рассудочности, однако,

существенно поколебав, прежних устремленностей и заблуждений полностью не лишили. «У каждого шага есть сотни, тысячи продолжений. Пусть только два, назад или вперед... Они существуют, их можно сделать каждому! Но кто и как выбирает единственное для продолжения – в этом ведь все! В этом. Переборов, начать и пойти. Какой выбор будет ошибкой, если ошибка случится? Кто будет в ней повинен, кроме тебя самого?» – просто, вроде бы, и убедительно вел с ним беседу его внутренний голос. Он досаждал странным образом, раздавая его существу на разум и тело. На чувства, как впечатления, и мысли – прострацию в абстрактное и возможное постижение тайн сущего силой собственной логики и объективной возможности. На тех, кто упрямо умирает в песках пустыни, и на тех, кто рядом, в Чаньани, подобно молодому сыну казненного князя.

Снова появился хозяин заведения, маячил, пытаясь привлечь внимание, и не решался приблизиться.

– Что у тебя? – резко спросил Тан-Уйгу, вдруг подумав с неприязнью, которой в нем раньше не было, что за ним, возможно, прислали из дворца от наследника.

– Тюрки... Их гонят вдоль Вэй, – шепотом, как некую тайну, произнес китаец.

– Какие... тюрки? – Тан-Уйгу его не понял.

– Не знаю. Сказали, что гонят большой толпой, я услышал.

– Ну... гонят, так гонят... Что же теперь?

Не придав сообщению китайца особенной важности – в самом деле, мало ли кого теперь и куда не погонят, – Тан-Уйгу оставался как в налипшей, опутавшей его паутине, мешающей пошевелить рукой или ногой, и не хотел там оставаться. Не являясь настолько знатным, как Ючжень Ашидэ, давно попав под опеку монахов и не зная тех начал, которые привели его, мальчика, в один из тибетских монастырей, Тан-Уйгу всего достигал ненасытной жаждой познания и здравомыслием. Великим своим терпением, видимостью покорности, собственной устремленностью в будущее, развивая природную сметку и накапливая жизненный опыт, позволяющий осмотрительно и осторожно продвигаться к намеченной цели, как в чуждой среде редко кому удается. Он с легкостью листил Сянь Мыню, под присмотром которого начинал обучение в монастыре, и с особым лукавым усердием продолжил листить, никогда не считая монаха ни самым умным, ни самым образованным, с тех пор, когда вдруг почувствовал, что его готовят к некой особой миссии. Долго не понимая, в чем она будет заключаться, но, по тайному желанию Сянь Мыня оказавшись рядом с наследником, он сумел извлечь немало, рассчитывая скоро получить еще больше. Поездка в армию генерала Хин-кяня многое изменила в его прежних желаниях. Всё цельное, устремленное, разом разрушилось, утратив опору именно там, на Желтой реке, когда перед ним предстало, нет, не мужество и отчаяние, с которым остатки туменов Нишу-бега бросались в ледяную воду, а – окровавленная голова бега на золоченом подносе в трясущихся руках тюрка-старейшины.

Трясущиеся руки, поднос и голова, от которых отворачивался брезгливо сам жестоколобый монах, но совсем не отстранился юный принц, готовый в юношеском азарте схватить эту безжизненную волосатую костомагу за окровавленные пряди.

Из поездки в ставку Хин-кяня он вернулся как бы сбросившим что-то долго стеснявшее, словно неудобный панцирь не по размеру, омертвляющее его тюркскую суть, начав следить за каждым движением возмущившихся с возрастающим интересом. Следил, невольно анализировал, прикидывал, что-то в тайне высчитывая и желая восставшим любой, пусть незначительной, но только удачи.

А само восстание, казавшееся ранее чуждым, во многом непонятным, бессмысленным, не вызывавшим возвышенного восторга и у большинства соплеменников, знакомых ему по Чаньани, вдруг предстало совсем в другом свете.

Всё предстает иначе, когда вдруг поймешь, за что не жалко жизни...

Он шел к этому долго, непросто, его удачливая судьба не нуждалась в немедленных переменах. С трудом поддаваясь нелегкому осознанию, что трагедия, произошедшая на рубежах старой Степи и Китая, есть неизбежность большого начала, которое предопределено самой историей будущего.

Начала, а не конца, как видел монах.

В смерть всего тюркского народа он больше не верил, тяжело переживая измену старейшин, проявивших позорную трусость и омерзительное, предательское повиновение врагу-победителю, решившись на убийство собственного вождя.

Это было добровольным убийством каждым из них собственного тюркского духа, который до этого часа он так же слышал в себе не часто.

Тюрк предает тюрка – ужасно!

Тюрк отрезает голову тюрку – кощунство!

Это был и его позор, разъедающий душу и разум сохраняющейся в памяти ужасной картины, представившей на высоком речном обрыве под рев флейт и буханье больших барабанов.

Он стал другим с того дня, наполненного треском и грохотом оглушающего торжества, но стал ли он справедливее, поднялся над злом или погрузился в него с головой, сам сделавшись опасным исчадием зла, – об этом Тан-Уйгу пока глубоко не задумывался, ощущая просто страдания, тяжесть и душевную боль.

С тех пор он знал о восставших в мельчайших подробностях, за всем следил, не в силах чем-то помочь, но людей у князя Фуняня становилось меньше и меньше, генералу старой военной школы Хин-кяню не составило большого труда проявить хладнокровную военную расчетливость и довести начатое до конца.

К тому же на помощь китайскому генералу пришли телесцы-тенгриды, уйгуры, помнящие о временах тюркского владычества. Они надежно закрыли северную границу империи от прорыва возмутившихся в Орхонские степи и на Алтай, внесли смятение и в его душу, затавившуюся невольной надеждой.

Не менее враждебно в отношении его соплеменников показали себя кидани с татабы, встав на других возможных путях шамана Болу и князя Фуняня в Маньчжурию и на Байгал, окончательно лишив тюрок последней надежды на спасение. Удачными действиями китайские генералы вынудили князя Фуняня скитаться в Черных песках и, наконец, на достаточно почетных, обнадеживающих условиях сдаться. Об этом самодовольно любил рассуждать монашествующий царедворец Сянь Мынь, внушая безропотному слушателю мысль о тонкой предусмотрительности, направленной на усмирение буйного Севера, и он окончательно возненавидел монаха, вскоре снова увидев голову Нишу-бега в других обстоятельствах, преподнесенную его же, князя-ашины сподвижниками теперь лично китайскому владыке на еще более богатом хуннском подносе.

…Тан-Уйгу смотрел из-за спины принца-наследника на эту засохшую волосатую голову с пустыми глазницами, и словно бы видел рядом еще одну и еще, презирал того, на кого сильно надеялся, благоухающего благовониями, бесчувственного непосредственно к смерти и, задыхаясь горечью увиденного, почувствовал, как жаждет быть с теми немногими, кто бродит в песках…

Мир был и остается бесчестным, сатанея лишь с каждым веком. Честь, достоинство – понятия странные, достаточно узколобые, иногда они превозносят не смелость и отвагу, а глупость и упрямство. Старого князя-ашину Тан-Уйгу было не очень жалко. Скорее, его вообще не было жаль, разве что немного из сочувствия к Ючженю. Князь сам сдался властям, поступок его Тан-Уйгу разгадал без труда, связывая с желанием старого тюркского предводителя облегчить участь детей, находящихся почти со дня рождения в Чаньани в положении заложников-аманатов, и старшего сына Ючженя в первую очередь. Монах Сянь Мынь это желание князя, не представлявшего никакой опасности, легко разгадал. Князя не мучили, не истязали,

не велась речь о его казни, но беседовать с ним, окончательно оглохшим, было трудно, Сянь Мынь не однажды жаловался на подобное неудобство, скоро утратив интерес к тюркскому старайшине Ашидэ, чем, скорее всего, невольно и подписал негласный свой приговор.

Но что случилось на самом деле, почему князю окончательный приговор вынесла вдруг сама императрица, оставалось загадкой.

Возникшие вопросы для Тан-Уйгу были почему-то тревожней, чем непосредственно казнь, князь Ючженъ не вызывал интереса, беседа утратила смысл, и Тан-Уйгу уставился бесчувственно в пустую пиалу.

Молчал и молодой князь.

Готовясь перенести встречу на другое время, Тан-Уйгу вдруг услышал за пределами заведения непонятные крики, топот бегущей толпы.

– Тюрок из Черных песков Алашани пригнали! Пленных тюрок пригнали! – неслышь возбужденные голоса, понуждая Тан-Уйгу все-таки встать и пойти за толпой, взбудороженной происходящим за крепостными стенами столицы.

Резко поднявшись, он глухо сказал:

– Я китайца не понял, когда он делал нам знаки… Пойдем, князь, посмотрим на живых… пока они есть.

Толпа бежала к северным воротам, но ворота были закрыты, никого из простолюдинов и черни за них не выпускали, а тем, кто был достаточно знатен, известен начальникам стражей, позволяли подняться на крепостные стены.

Тан-Уйгу, как наставник наследника, был более чем известен, перед ним раскланивались особенно подобострастно, и они с князем беспрепятственно взбежали по гулким ступеням на одну из башен над воротами.

Представшее зрелище было тягостным. Иссущенное зноем пространство вдоль реки клубилось густой желтой пылью. Пленные тюрки брали на остатках сил, сбиваясь в толпы, поддерживая друг друга, за что получали безжалостные удары плетками. Их гнали к мосту и гнали за реку, где было разбито в виде скотского загона некое подобие огражденного лагерь. Но мост, наполовину заставленный телегами, должно быть, для предстоящей вывозки трупов, стал препятствием, у него и на нем творилось вообще невообразимое. Здесь стражи, с опозданием поняв ошибку, свирепствовали особенно жестоко.

Пленные мало что понимали. Им казалось, что надо непременно идти, идти, чтобы не озлоблять конвоиров; они настойчиво лезли, толкались, не понимая, что мост, не в состоянии пропустить подобную массу, и телеги на нем основное препятствие.

Стражи бесполково орали, пытались воздействовать на толпу конями, но и кони были бессильны, затаптывая насмерть оказывающихся под копыта.

Несчастные, ослепленные страхом, лезли и лезли на мост, друг на друга. Лишь бы скорее миновать разгневанную охрану, готовую схватиться за сабли. Лишь бы проскочить мимо гневных солдат. И мало кто понимал, почти обезумев от безысходности, что лезет на мост и телеги, срываясь, летит куда-то.

Что-то должно было случиться еще более страшное последствиям; в необъяснимой тредвоге Тан-Уйгу схватил Ючженя за руку.

И непоправимое произошло. Не способные навести порядок иначе, солдаты пустили в ход сабли, и возникшая неожиданная резня продолжалась до тех пор, пока, не уяснив команду, пленные не легли в пыль на дорогу.

На башнях смеялись, оживленно переговариваясь.

По реке, переполненной кровью, мимо башен плыли трупы.

Ючженъ первым не выдержал, кинулся вниз по ступеням.

Следом скоро спустился и Тан-Уйгу.

– Не могу, не могу! Оставь меня, Тан-Уйгу, встретимся позже…

Тяжело, трагично начавшись, день продолжал оставаться невыносимо тяжелым. Пора было возвращаться во дворец, наследник наверняка давно его спохватился, а ноги не шли, все перед ним было в кровавом тумане.

Он угадал; увидев его, принц набросился с криком и возмущением.

– Тан-Уйгу, где ты был? – шумно гневался юный наследник. – Я собирался на казнь тюркского князя, но без тебя не пустили! Ну, где же ты пропадал? – досадовал принц, смущая Тан-Уйгу нестерпимо жадным, жаждущим взглядом.

В последнее время наследнику позволили отращивать волосы, они топорчились, подросток метался по зале раскрасневшийся, дышавший обидой и злостью.

– Я только что с крепостной стены, мой господин. Там куда более жестокое представление, чем на помосте, где казнили немощного старика, – ответил ему Тан-Уйгу, не скрывая собственного раздражения.

– Тан-Уйгу, ты раздосадован? – Принц удивился, воспрянув новым острым желанием, часто спасительным для многих служивших ему. – Чем ты так раздосадован? Я тоже хочу увидеть!

Готовый взорваться, чувствуя разгорающуюся ярость, Тан-Уйгу крепился из последних сил, не испытывая никакого стремления возвращаться на стену и снова наблюдать, что он уже видел, и, наверное, взорвался бы, не появившись, как всегда, неожиданно меленько семенящий и сладостно улыбающийся монах, похожий на разноцветный колобок.

Он торжествовал, упивался собой. Глаза его были зорче привычного, томно прищуриваясь, почти совсем закрылись.

– Вы отправитесь завтра, принц, – сказал он сухо и будто умышленно загадочно. – Сегодня пусть наблюдают и тешатся простолюдины. Завтра, завтра! – напрягая гладкий лоб, повторил он строже, угадывая желание принца возмутиться, настоять на своем. – Тан-Уйгу подготовит необходимое сопровождение. Принц увидит еще немало. Потерпи, Ли Сянь, потерпи до утра.

– Сянь Мынь! Казнь старого князя… зачем? – не удержавшись, спросил Тан-Уйгу.

– Для начала. Как прелюдия. Настоящая музыка Великой Дочери Будды впереди, Тан-Уйгу. – Монах откровенно упивался собой, становясь для Тан-Уйгу окончательно ненавистным.

СТИХИЯ ПЬЯНЯЩЕЙ РАСПРАВЫ

Плененных большой первой партии из числа сдавшихся генералу Хин-кяню в Черных песках сгоняли в лагерь под стены Чаньани почти двое суток, и двое суток Тан-Уйгу был вынужден находиться на одной из крепостных башен рядом с любопытствующим наследником, другими принцами и принцессами. Но пригнали не всех, кто был окружен, сложил оружие в Алашани, в пристенный лагерь за рекой сгоняли наиболее крепких воинов, мелких и средних начальствующих, руководивших сотнями, полутысячами и тысячами, вызвав неудовольствие военного министерства. Для одних восстание – героизм, по крайней мере, так считает часть людей, тайно поддерживающая стихию и бунт, для других – преступление. Все чаще в отношении Хин-кяня брюзжал и монах, оказавший генералу высокое покровительство. Для него возмущившиеся были преступниками. В чем-то всегда правы и те и другие, справедливое дело на крови не замешивается, как не может иметь оправдания любое насилие и принуждение. Но кто рассудит противоборствующих по справедливости, если она вообще существует, и каким судом их судить? Есть ли способ взвесить и те, и другие преступления, как прежние незаживающие глубокие раны, причиненные не повинным, так и новые насилия, грабежи и убийства, еще продолжающиеся и вопиющие о мести?

Монах не хотел ни взвешивать, ни рассуждать в пользу восставших, он сердито, непримиримо ворчал и сокрушался:

– Сообщают, Хин-кянь разрешил сохранить зимнее поселение шамана Болу. Ему приказали все растоптать, безжалостно уничтожить, шаман перенес туда часть прежнего капища, а генерал своеобразничает. Видите ли, он дал слово на сдачу князя Фуняня в плен ответить миром! Что с нашими генералами, Тан-Уйгу?

Не имея возможности возражать без опасения, проникаясь невольным уважением к генералу Хин-кяню, и его человечности к пленным, Тан-Уйгу насуплено отмолчался.

Когда переправа несчастных завершилась, наследник потребовал посещения непосредственно лагеря, что Тан-Уйгу сделать было вовсе непросто, и он с еще большим страданием и смятением почувствовал, как ему будет трудно там, среди измученных соплеменников; выручил монах, предложив немного подождать и дождаться более важных пленников.

– На подходе другая колонна, принц! Ведут более знатных воинов, захваченных генералом Жинь-гунем в Ордоце, тогда и посмотришь, – настоял монах, намекая, скорее Тан-Уйгу, чем принцу, что в столице намечается грандиозное кровавое представление.

Но ужасное грандиозное и без того уже развернулось. По решениям судебного ведомства, военных инспекторов и цензоров-прокуроров на мосту через Вэй начались массовые казни, посмотреть которые съезжалась вся столичная знать. Это был будто бы какой-то ритуал, важная государственная необходимость одним – убивать и казнить, другим – наблюдать и упиваться. Работы у палачей хватало, но мало кто понимал, да и не думал об этом, кому нужна настолько дьявольская работа, совершившаяся размеренно, с деловым рвением дровосеков.

Усердие добросовестного палача-убийцы! Восхищение и опьяняющая страсть праздных наблюдателей за действиями палача! Добросовестное прилежание чиновников, судей, приговаривающих новых и новых заговорщиков и возмутителей к обезглавливанию! Всё было дико, омерзительно, вызывало протест, хотя, свершалось и ранее, особенно не затрагивая и затронув настолько сильно тем, что несчитано и безжалостно убивали его соотечественников. Несчастных просто, бросали на плаху-чурбан, отсекали головы, отправляя отдельно возами в корзинах с верхом, как возят арбузы. Куцыми обезглавленными обрубками в рваных и вовсе не рваных одеждах, наполняли сотни и тысячи других телег и повозок, громыхающих встречными вереницами по каменистым улицам, работы хватало.

Казни на мосту были доступны не только взорам горожан и знати, наблюдающим за происходящим с крепостных стен, они оказывались в поле зрения лагеря за рекой и первые дни сопровождались тысячеголосыми тюркскими проклятиями, достигавшими стен города. Готовые умереть достойно, непосредственно в битве, как воины, сошедшиеся грудь в грудь с противником, они не хотели унизительно и позорно умирать на колоде и плахе.

Правда, дико и гневно кричали они только впервые дни, лагерь скоро словно бы что-то понял, смирился и наблюдал совершающееся в глухом оцепенелом онемении.

Как ни странно, но человек перед насильственной кончиной, в предчувствии последнего мгновения жизни, страдая и мучаясь телесно и духовно, иногда и побудившись в предчувствии неизбежного, обретает оглушающую покорность судьбе, и Тан-Уйгу будто бы не хотелось, чтобы его соплеменники завершали свою жизнь подобно баранам на бойне. Ему тайно хотелось до стона в груди, чтобы они... взорвались, объединенные испепеляющей яростью и снизошедшим на них Божьим гневом. Он готов был умереть вместе с ними. Исполни они его воспаленное ожидание, сам пристал бы к ним без раздумий и колебаний.

Но, умея многое постигать и оценивать, собственную смерть человек осознать не способен. Нет у него таких чувств, чтобы увидеть себя уже не живым, не существующим, и этим в последний раз яростно возмутиться. Все истекает и утишается его глухим отступлением и равнодушием, небытия, как чувства и ощущения, природа в него не вложила...

Вскоре, чуть меньшей колонной, изнуренной дальним переходом, пришли тюрки, закованые в кандалы по приказу генерала Жинь-гуня. В основном это были старшины, старейшины, прочая мелко-средняя знать Ордоса, Шаньси и Шэньси.

Отдельно, в личном эскорте генерала, следовал Выньбег. Его, грязного, в изорванных кожаных одеждах, с волосами, торчащими в разные стороны сухими черными прутьями, внушающего страх физической силой, везли на коне без седла. Тюркский вождь со связанными руками, посаженный лицом к лошадиному хвосту, вызвал небывалую волну мятущегося возбуждения.

– Тюрка-вождя! Предводителя-турка везут! – закричали на воротах, когда Тан-Уйгу был с наследником на крепостной стене, и того, как закричали, оказалось достаточно, чтобы понять необычность происходящего.

Посмотреть на жестокого бестию и безжалостного разбойника, которым в Чаньани запугивали младенцев, способного разорвать, расчленить и женщину и ребенка, мгновенно собралась большая толпа. Заметней других незначительных групп сразу же выделилась шумливая стайка полуоголых красотокзывающего поведения в звериных шкурах и с музыкальными инструментами в руках. Это были девицы известного в старейшем музыкальном училище города общества-братства, о котором ходило немало пугающих противоречивых слухов.

Тюркский воин произвел сильное впечатление, лишившее беснующихся амазонок всякой сдержанности. Сбившись в плотную группу, не позволявшую вклиниваться чужаку, бесцеремонно вышвыривавшую такого нахала из сплотившихся рядов, полуоголые девы непристойного поведения дико кричали, бесились, пытались исторгать из музыкальных инструментов разнообразные звуки, противные нормальному слуху, совершализывающие оскорбительные телодвижения, далекие от изящества. Они, хорошо известные городу, прежде вызывающие расхаживающие по улицам под шум и трескотню визжащих и хрюпящих дудок, флейт, бамбуковых свистулек, часами толпившиеся на мосту казней, всюду мешавшие движению телег и повозок, дружно последовали за генералом и важным пленником, усиливая уличную вакханалию. Не скрывая высокомерного презрения, они больше других упивались страданиями тюркского предводителя, дразнили его, трещали, пищали, дудели в дудки, били, просто били по струнам инструментов.

Полный напыщенности и тщеславия, генерал был доволен подобным стихийным приемом и тихо шепнул встретившему его на городских воротах военному министру:

– Девицы из братства, У-ху им покровительствует. Продлим удовольствие городу.

– Да, да, – легко согласился военный министр, – я прикажу провести твоего дикаря по всей столице. Продолжим, продолжим! Прекрасная мысль, генерал, Солнцеподобной может понравиться!

Девицы бесстыдно кричали:

– Генерал, ты победил первобытного дикаря, ты настоящий мужчина, не хочешь ущипнуть меня в попу?

– Красавчик Жинь-гунь, мы тебя любим!

– Если великая У-ху не впустит больше в свои покои, приходи к нам!

– Генерал, тюрка дашь нам на одну ночь?

– Только на ночь, генерал! Умрет, не познав настоящей ласки на шелковых покрывалях.

Бега, сопровождаемого праздной толпой зевак, и теми же девицами из музыкального училища, возили по кривым улицам и площадям три дня, взбудоражив город, давно не видавший подобного зрелища и едва ли понимающий толком, что произошло где-то на северных рубежах отечества. Насытившись многочисленными безликими казнями, толпа с особенным наслаждением упивалась истязаниями одного могучего тюрка, с каждым днем теряющего силы у них на глазах. Под ееupoенный поощрительный рев бега секли хвостатыми плетками, подкальывали пиками, сдергивая с коня, принуждали бежать, связанного цепями, за телегой. Долго возили на окровавленной повозке распятым на закрепленном столбе с перекладиной.

К исходу третьего дня ничего человеческого в тюрке не осталось. Ноги его совсем не держали, кожа спины, плеч, рук, иссеченная изощренными стражами, свисала клочьями. Бег истекал кровью, его уже только возили, сам он сделать не мог ни шага.

Местом казни Выньбегу была назначена Восточная площадь, где происходили наказания бродяг и разбойников и куда процессия с бегом, сопровождаемая огромной орущей толпой, добралась только к вечеру третьего дня. Тюрка волоком втащили на помост. Помучив и поистязав на удовольствие публике, ему, как вору, отрубили правую руку и, оставив истекать кровью, привязали к столбу пыток.

Возбуждение всякой толпы, стихийных скопищ и групп – явление неоднозначное и свое-нравственное. Шумливая полууголая стайка расставаться с Выньбегом не торопилась и, когда опустились сумерки, девицы устроили новый садистский спектакль. Прямо на залитом кровью помосте.

Это было неприятное и неприличное представление, на которое едва ли способен самый изощренный дикарь, но на которое с легкостью способно пойти подобное, вошедшее в раж сборище развращенных единомышленниц.

Сорвав остатки рваных одежд с полуживого бега, истекающего кровью капля за каплей, как было предусмотрено безжалостным палачом, под рев толпы скинув свои шкуры-накидки, напяливая и подражая человеческой первобытности, они устроили на помосте настоящую и бесстыдную оргию собственной необузданности.

Они словно блаженствовали в этом развращенном бесстыдстве, выплеснувшемся на городские улицы, приводя ночную толпу в исступление.

Они упивались страданием полуживого бега с бессмысленным взглядом, дразнили, когда бег приходил ненадолго в чувства, поднимая запекшийся обрубок руки, обожженной факелом стражей и отмахиваясь точно от бесов, дергали за все, за что только можно подергать и потрогать любопытного в мужчине.

Под конец они оказалась почти совсем нагими, словно дикарки в набедренных повязках из узеньких звериных шкур. Они радовались тому, что бесстыдно нагие, снова трещали, пищали, дудели, били по струнам инструментов.

И все же это было для них не совсем наслаждением, как не могло быть и проявлением истинно женского естества – наблюдавшему незаметно за происходящим на площади и на помосте Тан-Уйгу было их жалко.

Да и было ли это женское естество, способное и нежно любить, и страдать, и сочувствовать – мир нередко противоестествен в самом святом для себя проявлении совести и морали и куда более безобразен и гадок, чем способен казаться. Скорее, это была обычная стихия какого-то разгульного протesta, понятного лишь его участникам, не знающим границ. Попытка таким вот сверх разнужданным способом обострить собственные чувства, давно притупившиеся в том же самом разврате вольного и порочного братства.

«В монашеской Чаньани бессчетно запретов, время от времени, вызывающих протест не только отчаянных девиц. Разве это первое выступление подобного рода, о чём известно непосредственно императрице?» – подумал вдруг Тан-Уйгу, вроде бы раздосадованный происходящим на помосте для казни и пытающегося найти ему оправдание. И тут же ожила мысль, что Чаньань давно живёт разрозненными противоречивыми слухами о войнах, которые всем надоели, как и ему.

Войны! Кругом только войны, не остающиеся без последствия в обыденной человеческой жизни. Особенно надоело затянувшимся кровопролития в Западном крае и на Тибетской линии. Своими оглушительными сообщениями о тяжелых поражениях, они нагнетают в обычвателе постоянный страх, поселяя и укрепляя в нем обреченность, мысль о неотвратимой беде и новых наборах в армию.

Наиболее затянувшаяся многолетняя война на Тибете, проглотившая бесследно большую часть здорового молодого поколения, всем, включая расхристанных, бесстыдных валькирий, большинство которых происходило из приличных семейств, была болезненней, ощущимей других подобных кампаний. Она становилась опасной устойчивым постоянством, неизбежными новыми жертвами, обнищанием многих достойных семейств. Так или иначе, но с ней за минувшие годы как-то смирились. Зато победы на севере, подавление тюркского восстания в Ордосе и Алашани рождало во всей Чаньани иллюзию торжества и собственного величия. В последние дни в пагодах, кумирнях, прочих местах столичных священодейств громкоголосо взвывали и проклинали. В общественных и увеселительных заведениях пили и бралились. Толпами сбиваясь на грязных узких проездах, текли крикливы скопищем к северным воротам столицы, к мосту через Вэй, чтобы снова и снова посмотреть на грязных степных дикарей, пресытиться новыми казнями. Пыльный запущенный город жил предощущением близких новых жестокостей, скорым обилием куда большей крови, чем оросившая берега Вэй, как, может быть, более чувственno жили разнужданные жрицы свободных нравов из музыкального училища.

Но мысли Тан-Уйгу были неловкими, оправдания девушкам не находили, рисуя другие картины поведения женщин других достоинств живущего в веках. Одна из них вдруг словно бы замерла перед ним, перестала метаться, потекла ровно, словно бы оживая. И он увидел другу толпу женщин, отворивших ворота полуразрушенной, догорающей крепости, сильную предводительницу, вышедшую первой под стрелы врага. И малых детей, сбившихся в кучу, самоотверженно закрываемых другими женщинами поверженного, пылающего города.

– Князь, сегодня погиб наш последний мужчина-защитник и сражаться с тобой больше некому. Остались в живых только малые дети, не способные держать ни лук, ни саблю. Мы оставляем тебе крепость, утварь, жилища. Если чтишь какой-нибудь кодекс воинской чести, пропусти нас и наших малых сыновей, но помни, они могут вернуться, поскольку пепелища прошлого и прах отцов будет вопить в их сердцах, возмужавших однажды, и призывать к возмездию.

Полгода осаждая непокорную крепость и сломив, наконец, сопротивление противника, напыщенный победитель не внимал осмысленной речи женщины, не слезая с коня, усмешливо произнес:

- Ты не все нам оставила, женщина.
- Что мы уносим, не отдавая тебе? – удивилась женщина-мать.
- На каждой из вас остается одежда, сложите к моим ногам.
- Князь, нас уже ничем не испугаешь, мы не побоимся предстать нагими перед тобой.

Но с нами, князь, посмотри! Наши сыновья: мальчики и отроки! – воскликнула возмущенная предводительница.

- Право выбора за тобой, – потешался нахальненький князь.
- Князь, ты поступаешь неумно. Мы, матери, легче забудем позор, но дети…
- Другого решения не будет, – перебил ее предводитель когорт, осаждающих крепость.
- Да падет гнев богов на одну меня! Во имя детей покоримся, – сказала властная женщина тем, кто был у нее за спиной, оборачиваясь к ним и низко кланяясь.

Она первой разделась до натянутой кожи. Помедлив, и другие разделились. Воины расступились. И никто из них, в отличие от вождя, бесстыдно не пялился на женскую наготу, суровые воины отворачивались.

Прошло почти два десятка лет. Однажды опозоренная жена погибшего князя появилась с тремя подросшими сыновьями и с немногочисленным войском у стен той же крепости. Битва была жестокой, погибли два ее юных мальчика, но войско мужественной предводительницы победило.

К ней подвели плененного князя.

– Князь, – сказала она, не стыдясь своих траурных слез, – ты развязал с моим господином и моим земным богом войну. Ты пришел и убил моего мужа. Убил двух моих сыновей. Какой кары ты ждешь?

Князь молчал. Тогда женщина спросила:

– Сможешь ли ты предстать перед своими женами и дочерьми, не потеряв стыд воина без всяких одежд?

Князь упрямо молчал.

– Хорошо, князь, ты не можешь, но ты и не умер достойно воину, предпочтя плен. Ты на что-то рассчитывал или ты просто трусил?

Князь молчал, и женщина-воительница обратилась к его женам:

– Кто из вас ради мужа-убийцы готов поступиться тем, чем поступились мы, спасая наших детей?

– Ради мужа верная жена пойдет на все, я готова, – ответила самая старшая.

– Ты благородная и верная жена, но у тебя взрослые сыновья, их стыд будет другой, чем стыд ребенка. Забирай своего мужа и уходи. Пусть все узнают, что такого воина больше нет на земле! Остальные жены его… Похоже, им все равно, с кем дальше жить, – я одарю ими слуг и рабов…

Об этой женщине поэты сложили легенду, назвав ее «Цветок, врачающий душу». Тан-Уйгу давно познакомился с прекрасной легендой и успел позабыть, но она вдруг пришла сама по себе, возбудив его тем, что имея полное право на жестокость в отношении поверженного врага, женщина из далеких времен проявила благородство. О ней – женщине-воительнице, отомстившей за честь мужа, и женщине-матери, потерявшей в судьбоносном сражении двух сыновей, – будут помнить всегда, но кто вспомнит об обнажающихся, как в угаре, молодых сильных кобылицах, утративших стыд и воздержание? Неужели плотское станет когда-то обычной утехой, способной затмить глубину настоящего чувства?

Конечно, неразумным бесшабашным поведением они бросают вызов. Но ведь распущены и развратны, а добровольному бесчестию оправдания не бывает…

С ним что-то происходило, начавшись у помоста с обезглавленным князем Ашидэ и продолжившееся под воздействием сотен и сотен тюркских смертей у крепостных стен китайской Чанъани. Въедливое и назойливое, похожее на далекий комариный писк, перерастающее в

оглушительный рев толпы, убившей Выньбега. Мысль, что и ему, состоящему на службе империи, скоро может не найтись оправдания, набегала издали, как туман. Тан-Уйгу справлялся с ней, отпугивал, не давая окрепнуть. Но надолго ли?

* * *

Бег умер к утру.

Умер тихо, покорно, просто капля за каплей истек.

Оставаясь никем незамеченным, Тан-Уйгу видел, как он умирал, следил до последней минуты, словно бы спешил хоть что-то у него перенять.

Доставленных в обозе генерала Жинь-гуня старшин и старейшин тюркских родов и поколений, представляющих не то какую-то государственную опасность, не то другой интерес, загнали в крепостные подземелья, дав начало шумным чествование генерала Жинь-гуня и его доблестного штаба на городской площади.

Оно длилось весь день и закончилось появлением императрицы под балдахином. Горели тысячи факелов, звучали тысячи флейт и струнных инструментов, больших и малых барабанов, длинных и коротких труб, тростниковых свирелей, что бывает совсем не часто и только по самым большим торжествам. Замысловатые танцы-феерии исполняли тысячи юных дворцовых красавиц и танцовщиц.

Императрица, окруженная гвардейцами и монахами, овеянная опахалами, надменная и высокомерная, поднялась, но балдахина не покинула, позволив себе подарить склонившемуся перед нею генералу-фавориту нечто похожее на поощрительную улыбку, вызвав новую бурю восторга.

Генерала Жинь-гуня чествовали еще несколько дней, но генерала Хин-кяня держали за городом, не объясняя причин.

Хин-кянь нервничал, его мужественное лицо, обожженное пустыней, было хмурым. Когда появляющиеся в его лагере военные чиновники-посыльные пытались доброжелательно втолковать, что генерал совершают ошибку, продолжая держать при себе плененного князя Фуняня, не отсылая к У-хуу, он с достоинством отвечал:

– С князем Фунянем у меня заключен договор, я его выполняю. Я представляю князя Фуняня великой У-хуу лично и буду, как повелевает мой долг, настаивать на пощаде. Упрямец путал все карты развернувшегося величия и торжества, вызывая неприязнь царствующих особ и царедворца-монаха.

Тихое противостояние длилось ровно через неделю, пока воздавались шумные почести генералу Жинь-гуню, и только потом наступила очередь генерала Хин-кяня, получившего разрешение войти в столицу. Вызывая возмущение, рядом с ним в седле следовал тюркский хан-пленник при личном оружии, сопровождаемый несколькими нукерами и женами в обозе. Единственное, в чем оказался унижен тюркский вожак, – его лишили права быть в ханском головном уборе, представлявшим округлую меховую шапку с каменьями, золотыми фигурками зверей и животных, перепоясанную по верху витыми золочеными шнурами толщиной в палец, который стражи везли вздетьм на пике.

Непокрытая голова хана-пленника встрепанные жгуче-смолянистые волосы были не то наполнены песка, не то поседели. Генерал иногда наклонялся к нему, что-то говорил, вроде бы улыбался, словно позабыв, что улыбается врагу великой империи, беспощадной к тем, кто ей изменяет, князь Фунянь в ответ кивал, как бы поддерживая в чем-то и соглашаясь.

Подобная вольность на глазах у столицы не могла не задеть недоброжелателей, и они незамедлительно проявились, засвистев и зауллююкав. Особенно неистовствовала группа тех же самых, набежавших на кортеж длинноногих девиц в странных, наполовину тюркских, напо-

ловину китайских одеждах, с музыкальными инструментами, издающими далеко не благозвучные мелодии, которая несколько дней назад безудержно восхищались генералом Жинь-гунем.

Рыжеголовым красавцем Жинь-гунем!

– Кто эти, настолько мне непонятные? – не без удивления спросил тюркский князь.

– Есть в Чаньани такое общество вольных девиц, желающих отведать нового брата, – небрежно обронил генерал, сохраняя величие и спокойствие.

– Почему они гневом встречают тебя, генерал? – разобравшись в происходящем, не без удивления спросил князь.

– Потому что ты не связан, не сидишь лицом к хвосту своего коня, как был представлен толпе генералом Жинь-гунем твой сподвижник Выньбек. Потому что я признаю в тебе воина, а им нужно видеть сумасшедшего дикаря, – с легкой усмешкой ответил Хин-кянь.

– Ты победил, этого мало? – снова спросил седеющий тюрк.

– Тебе неизвестно, что победителем иногда провозглашается вовсе не тот, кто ходил в битву, а тот, кто за ней наблюдал, только мешая советами? Вдали от Чаньани я мало что понимал и только теперь... Мы плохо слушаем прошлое, князь, не черпаем из него хорошее и не отметаем плохое.

– Да, в другие времена, генерал, мы могли бы вместе ходить в походы.

– Я знаю, Фунянь, так уже было полвека назад, но я все же китаец, – незлобно проворчал генерал, смущаясь невольной своей откровенностью.

Князь оценил ее, поспешил произнес:

– Генерал, ты дрался со мной достойно, сдержал слово, позволив многим моим соплеменникам остаться в лагере, который сооружен прошлой зимой! Не бери на себя большее, я знаю коварство зависти и знаю, как на твоем месте поступил бы другой. Не стоит щадить, я удовлетворен, как ты обошелся со мной. Не трать больше усилий, которые обернутся против тебя. Ты и я лучше других знаем конец подобным кровавым событиям, прими мою искреннюю благодарность.

– С воином – я воин, с пленным князем – я всегда князь! – произнес Хин-кянь, и они замолчали.

С ВОССТАНИЕМ ПОКОНЧЕНО

Победителей не всегда только любят и превозносят; плохо бывает и самому победителю, если он утрачивает должную осмотрительность и разумность в поведении или вовсе ею пренебрегает. Об этом Хин-кяню и заявил сердито монах, первым удостоившего его посещением.

– Почему ты беспечен, Хин-кянь? – спросил угрюмый священнослужитель Будды, поздравив генерала с окончанием славного похода. – Не хочешь остаться при дворе... как Жинь-гунь?

Монах сделал паузу, смысл которой мог оказаться двояким, насторожив генерала.

– Сянь Мынь, я знаю, чем обязан тебе, благодарю за все, что ты сделал, но мне не дано быть... при дворе. – Хин-кянь оставался холодным, погруженным в себе. – Да и походов, подобных совершененному, я более не хочу.

– Беспечность! Какая беспечность! Достигнув победы, ты упускаешь плоды! – излишне шумливо возмущался монах.

– Я уничтожал способных преданно служить Поднебесной, Сянь Мынь, неужели по сегодняшний день ты не можешь понять настолько простого!.. К тому же, меня насмешливо известили, что голове князя Фуняня определено место во Дворце Предков рядом с головой Нишу-бега. Сянь Мынь, сложись все иначе... Будет эффектно выглядеть – сказали. Но, моча бешеной ослицы, таких отважных подданных, недавно служивших Тайцзуну не за страх а на совесть, у Поднебесной больше не будет!

– Головы Нишу-бега и старейшины Ашидэ наводят ужас на посетителей, многие желают видеть рядом и голову третьего смутьяна! С мертвого снять, в песках, или с живого – в Чань-ани... – Монах смутился.

– Сянь Мынь, тюркский князь прекратил сопротивление, получив мое обещание сохранить жизнь ему и его сподвижникам, иначе они бы не сдались никогда. У князя была возможность, бросив женщин, детей, вырваться и уйти, как ушел какой-то тутун с дюжиной нукеров. Я встретил достойного в решимости. Увидел перед собой не толпу, не безумцев, не наемные корпуса и дивизии, не озверелые шайки дикой орды, как думал вначале, а народ в отчаянном единении. Шамана, который сказал старикам: давайте тихо уйдем, сейчас мы лишние. В какой-то момент мне стало трудно их убивать. Я дал слово, Сянь Мынь, во благо, не во зло. Почему меня унижают моим словом солдата?

– Возможно, ты поспешил, отважный генерал Хин-кянь. – Монах выглядел слегка смущенным, но не более, и не хотел понимать генерала, которому, составляя проекцию, недавно еще пытался открыть дверь в покой повелительницы.

– Решая судьбу кампании, только военачальник способен принять окончательное решение! Я принял, положив конец северному возмущению степного народа! Как же я поспешил? Оставьте меня на границе, и я обеспечу Китаю покой на десятки лет вперед.

– Хин-кянь, мы будем еще говорить с благосклонной к тебе Великой У-хой! Соберется большой императорский совет, но власть на нее генерала Жинь-гуня сейчас выше моей, будь готов ко всему, ты не должен себя так вести. – Голос монаха надсед и слегка дрогнул, Сянь Мынь говорил неискренне, неожиданно добавив с лукавым блеском в узких глазах: – Но я всегда рядом, лишь пожелай и окажешься в благоухающих садах... Генерал не хочешь вернуть упущенное в упрямстве?

– Я хочу в новый поход! – прерывая монаха, отмахнулся сердито Хин-кянь. – На Иртыш! В Тибет! На горные земли Теплого озера в Западном крае! В Мавераннахр! Выбери сам и отправь!

– Вспомни судьбу знакомого нам воеводы и прояви осторожность: твоя судьба только в твоих руках... Может быть, навестить Великую У-хой в ее божественной опочивальне и восста-

новить ее благорасположение? – Без особой настойчивости монах мягко коснулся руки генерала.

– В постели! После всех... – Глаза Хин-кяня расширились до предела, наполнились бешенством.

– Будь осторожен! – Голос монаха враз накалился, в нем зазвучала угроза. – Я служу не тебе и если благоволю... – Монах задохнулся, мелко закашлял.

– Я не хотел, Сянь Мынь! Распоряжайся своей, мою честь не затрагивай! – обронил генерал, понижая голос и гнев.

– Можешь сражаться саблей, иди и сражайся, я помогу. Но пора научиться побеждать не только диких тюрок да тюргешей. Повторяя судьбу воеводы Чан-чжи... Подумай.

Монах был оскорблен, не попрощавшись, торопливо покинул упрямого Хин-кяня.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.